

18+

Валентин Катарсин

Странная повесть

Роман

Валентин Катарсин

Странная повесть. Роман

Катарсин В.

Странная повесть. Роман / В. Катарсин —

Должен сразу же предупредить, что я писатель — как бы это выразиться помягче — странный. В повествовании моём будут встречаться совершенно разные по стилю и содержанию части, неведомо где и когда живущие персонажи, изображённые то карикатурно, кукольно, то весьма реалистически; будут соседствовать сермяжный быт и странная фантастика; микроскоп и телескоп; отчего, впрочем, и назвал я своё сочинение «Странной повестью».

Содержание

Набросок Невидимки	6
Странная повесть	14
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Странная повесть Роман

Валентин Катарсин

Благодарности:

Александр Попов

© Валентин Катарсин, 2026

ISBN 978-5-0069-7135-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Набросок Невидимки

НАЛОЖНИЦА ЛАВРЕНТИЯ

Невероятный, нелепый человек! Смее утверждать, что более необъяснимой, более непутёвой судьбы не знала отечественная литература. Рассказать – не поверят, примут за вымысел, новеллу.

Между тем эта судьба трагикомическая, как нынешний век нашей бестолковой державы, – реальность. Станный, странный художник. И слово «странный» будет встречаться в моей попытке наброска навязчиво часто.

Однако начнём издалека и чуть сбоку...

Следы давней красоты ещё хранит её лицо. Старая актриса молодится: красит волосы, подводит ресницы, румянит губы. Живая не по годам, она любит выпить, после чего становится ещё живей. Валерия Григорьевна Лукина – так зовут старушку – бойко рассказывает, как летом сорок пятого, учась в театральном институте, была вместе с подружкой свезена на машине к Лаврентию Палычу, как тот был галантен с ней особенно, импозантен в только что надетом маршальском мундире, как учтиво называл её «хозяйюшкой» (очевидно, подражая Главному), как познакомил с сыном Серго и кухаркой Аришей, как вскоре студентку театрального вместе с подружкой отправили в гарем на берегу Чёрного моря, как, пробыв там месяц, ни разу не произошло то, ради чего созданы гаремы, – с нею и с подругой, во всяком случае.

О Лаврентии Палыче старушка отзывается весьма хорошо, даже с любовью, утверждает, что все рассказы о нём, человеке якобы жестоком, грубом, циничном, – выдумки и чепуха.

Впрочем, её воспоминания о себе и том времени – тема особой статьи или книги. Сейчас важно другое.

– Валерия Григорьевна, вы кому-нибудь рассказывали об этом?

– Ещё как рассказывала. Гоге Товстоногову, актёрам БДТ. Я ж там восемь лет проработала.

– Почему ушли?

– Приставали. Гога приставал. Ефим Захарыч щипался. Да все мужики. Воображают, что после Лаврентия Палыча им всё можно. Фигос под нос. Взяла и ушла. Муж обеспечивал... Да ещё рассказывала одному писателю. Кажется, фамилия его Валентин Катарсин. Меня с ним знакомая познакомил. Ну, напоил меня и давай в блокнотик записывать. Потом роман написал. Только насочинил там с три короба, не так всё было. Лаврентий Палыч – во! Рыцарь! А этот самый Катарсин его таким монстром изобразил – спасу нет.

– Роман опубликован?

– Не знаю. Мне подружка рукопись давала почитать. Ну там такие страсти-мордасти... Я, между прочим, по телефону с самим Сталиным толковала. Этот Катарсин и наш разговор переврал. Сталин тоже был мужчина хороший, совсем не такой, как его теперь изображают. Враки всё...

Так я впервые слышу о некоем писателе, раньше меня узнавшем о гаремах Берии, написавшем даже об этом роман или в романе. С наложницей верного ленинца я разговариваю в 1979 году.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В СОЛОМЕ

Минует год. В питерском Доме писателей, куда я навещаюсь лишь для уплаты членских взносов, обеденный перерыв. Решив последовать примеру бухгалтерии, спускаюсь

по лестнице, увешанной фотопортретами современных классиков с берегов Невы, в столовую. Навстречу поднимается полная, тёмноглазая женщина с продуктовой сумкой в руке. Здравается, спрашивает:

– Простите, вы не писатель?

– В некотором роде.

– Не подскажете, к кому обратиться... я в деревне рукопись нашла. Вернуть надо, может, ценная.

Задумываюсь. Ей бы обратиться к Чепурову (он тогда возглавлял СП). Но главный классик в важной командировке, классики рангом пониже – в важных делах. Да и не знаком я с ними.

Предлагаю женщине, если у неё есть время, перекусить. Перекусить с писателем ей, вероятно, лестно, и время находится.

Мы сдаём плащи в гардероб и идём не туда, где поглощают много рыбы и сахара литчиновники с литадминистрацией, а в пустующий буфет, где можно под бутерброд принять рюмку-другую горячительного. Женщина несколько удивлена обеденной трапезой писателя, но молча жуёт.

– Так что ж вы за рукопись нашли?

– Вот, – она лезет в сумку, достаёт завернутую в газету толстую папку, – посмотрите. Я прочитала, интересно. Смех и слёзы.

Беру в руки, читаю заглавие: «Странная повесть». Наверху – Валентин Катарсин. Ба, вспоминаю, запомнившееся из-за своего очистительного смысла имя. Опять Катарсин, тот, что опередил меня в описании гаремов. «Странное совпадение. «Странная повесть».

– Я, знаете, прошлым летом жила в деревеньке Зачерни Стругокрасненского района, – объясняет женщина. – Комнату снимала у цыганки тёти Кати. И вот на чердаке однажды спала и под соломой нашла эту папку. Спросила у тёти Кати. Говорит, жил здесь три лета подряд один бородач с сыном. Он часто на чердаке пропадал, свечка там у него горела. Всё боялась – пожару бы не случилось. Мужик, говорила, хороший, рыбачили они с сыном целыми днями. Местным часто выпить подносил...

Я прошу находку, обещая, прочитав, сдать в секретариат. Вручаю визитку, записываю телефон и фамилию – Раиса Васильевна Булгакова.

Повесть прочитываю за две ночи. Действительно интересно и странно написано: переплетение реального быта и фантазмагии, смесь Булгакова и Свифта, повесть в повести. Главный персонаж – писатель, и с ним в жизни происходит то, о чём он пишет. И наоборот – сочинённое сбывается в жизни. Сойдя с ума, он путает реальность с вымыслом. Но чем дальше читаешь, тем яснее, что не он сходит с ума, а окружение.

Я начинаю искать, кто такой Валентин Катарсин. В справочнике СП не нахожу. Звоню знакомым – никто не знает. Встречаюсь с «наложницей». Какая-то её подруга вроде знакома с Катарсиным. Увы, подруга куда-то переехала, связь с ней потеряна...

Бежит время. Каждый день собираюсь занести найденную в соломе на чердаке рукопись в Союз. Некогда. Не успеваю. Куда-то спешу. Командировка, дача, события, карусель житейская, суeta суeta. В ней проходит год за годом.

ГИРЯ НА СКРИПКЕ

С поэтом и художником Валентином Поповым мы давно дружны, хотя встречаемся, торопливые люди, редко. Поздравляем друг друга по телефону с праздниками, днями рождения.

В сентябре прошлого года, находясь по делам неподалёку от его дома в районе Юго-Запада, решаю заглянуть. Хозяина нет дома. Жена, Ольга, сообщает, что он в деревне и до Нового года, вероятно, не появится.

Ладно. Открываем бутылку вина, толкуем о всякой всячине. В частности – почему Валентин давненько ничего не издаёт, пишется ли ему?

– А он, дурак старый, сам себя издаёт. Вон его несколько фолиантов, – Ольга указывает на стеллаж.

Снимаю с полки самиздатовский, переплетённый в матерчатую обложку кирпич. Раскрываю: первое, что вижу, – автопортрет, исполненный чёрной акварелью. Сидит мой друг за своим письменным столом, голова резко повернута на нас. За фигурой – картина, изображающая гирию на скрипке. Тяжёлая гирия, тёмная, лопнули под ней светлые струны. У него и экслибрис сделан с той же аллегорией своей судьбы и судьбы своего века.



Читаю заглавие: «Странная повесть». Выше – Валентин Катарсин. И враз сцепляется, вспыхивает: я уже читал эту повесть, найденную в соломе, она лежит у меня дома... Я хватаю сигарету, прикуриваю не тем концом.

– Ты чего? – удивлённо спрашивает хозяйка.

– Почему Катарсин?

– Псевдоним такой придумал.

– Он отдыхал в Стругокрасненском районе?

– Да. С сыном жили у какой-то цыганки. А что?..

Мы говорим о нём до полуночи.

ЧУЖАЯ ГОЛОВА ПОТЁМКИ

Себя-то не раскусишь – кто ты на самом деле. Бежит жизнь, а, быть может, в главных отсеках души ещё свеча не горела. Ну а чужая голова – вовсе потёмки.

Вот так и вышло: стихи читаем, пьём вино, дурачимся, а он тихом, оказывается, сочиняет романы.

Известно мне, что человек он скрытный, не любит все рассуждать о литературе, встречах с литераторами. Он – разговорчивый молчальник. Да ещё, в отличие от большинства людей, завывающих свои житейские и творческие достоинства, занижает их.

И всё же открытие, что Валентин Катарсин и Валентин Попов – одно и то же, удивляет меня. В этом ракурсе забавный случай происходит с моим скрытным другом в ту далёкую пору, когда он работает художником-постановщиком на студии телевидения.

В «Литературной газете» появляется о нём статья Ильи Сельвинского. На другой день – звонок телефона: некто, редактор студии Ирина Муравьёва, прочитав поощрительную статью мастера, хочет познакомиться с безвестным поэтом, сделать о нём передачу, просит приехать на ТВ со стихами.

Когда они встречаются, бедный редактор густо краснеет, теряет дар речи. Боже, как обыденно: множество лет знает этого художника, вместе сидят в столовой над комплексными обедами, смеются над вольным анекдотом, и вдруг он пишет стихи, о нём статья в «Литературке...».

У неё почему-то пропадает желание делать задуманную телепередачу.

ТВЕРСКОЙ ОТШЕЛЬНИК

Волны русского зарубежья, реанимация имён не всегда значительных, запоздалые оценки изгнанников, стремительное время, политические витийства, перемены не по дням, а по часам...

А наш страннейший русский литератор иммигрирует в себя, в глухую деревеньку Тверской губернии, где, будто ничего не видя и не слыша, работает, пишет странные повести и романы, пьёт весёлое вино и, окончив одну рукопись, прячет её подальше, принимаясь за другую. И, кажется, не волнуют его ни успех, ни общественное признание, ни деньги, добывать которые он умеет, слава богу, не только перовождением по писчей бумаге.

Да полно, что за чудачества! Ведь нынче-то свобода слова, всё дозволено. Ан нет. И носа не кажет в те места, куда писатели всех калибров летят, чтобы превратить свои несгораемые рукописи в книги и гонорары.

Позвольте, может быть, он не уверен в даровании своём? Хотя мчат в редакции и вовсе не имеющие оно. В своём ли уме? – возникает резонный вопрос.

А и верно, считать ли человека нормальным, если у него полгода отсутствует входная дверь, вместо которой висит байковое одеяло? Если пальцем не пошевелит, чтоб получить льготы блокадника и, без сомнения, в скором будущем не станет хлопотать о пенсии? Если продаёт фарфоровые изделия собственной росписи за гроши, а потом они числятся в зарубежных каталогах? Если под честное слово даёт бесчестному тысячу, а потом сидит на бобах, более не встречая должника? Теряет рукописи и не ищет их?

Нет, он вполне в разуме. Такой диагноз ставили и эскулапы дурдомов, и лепилы тех мест, где он жевал казённый хлеб. Да и в литературных способностях нет оснований сомневаться – они подтверждаются славными именами.

Может быть, дело в сверхобломовской инертности? Ведь он годами собирается пришить, скажем, вешалку к пальто, купить писчей бумаги, опустить конверт в почтовый ящик, вставить оконное стекло, заменить собачью верёвку на приличный поводок. И в этих малых сборах проходит жизнь.

Где уж тут посетить Москву, побродить по издательствам, которых он патологически боится, избегая, как всяких госучреждений, химчисток, кафе.

Однако это лишь отчасти объясняет феномен и безвестность человека по натуре энергичного и деятельного, если действие направлено на благо других.

БЫЛО И ТАКОЕ

В молодые лета и он посещает редакции, обращается к старшим художникам слова. Пытаются ему помочь И. Сельвинский, Л. Мартынов, В. Каверин, А. Твардовский, И. Меттер. Но по причинам, теперь известным, сделать практически что-либо доброе они не могли для странного литератора. Стоит ли говорить о недобрых? Не стоит – их тьма. Рецензенты и редакторы поумнее, советуют автору спрятать сочинения подальше и никому их не показывать.

Автор так и поступает. И более никуда не ходит, никому не посылает писем, замыкается, работая и попивая винцо. Есть борцы за что угодно – хвала им. Наш тихий художник не из их числа...

Однажды всё же и чудо случается. К нему домой! Прибывает редактор «Советского писателя» М. И. Дикман – женщина отзывчивая и добрая. Она выбирает из его беспорядочных залежей два десятка рассказов, и с трудом издаётся книжечка, не много говорящая об истинном лице автора, но всё же книжица не дурная.

Затем, в самом начале перестройки, его жена, далёкая от беллетристики, втайне от мужа посылает одну из рукописей в толстый журнал. Бандероль теряется то ли в редакционных катакомбах, то ли на почтовых трактах.

В другой раз его приятель свозит повесть в столицу. Через восемь месяцев из «Знамени» прилетел чудесный ответ с лестными оценками рукописи. Суть ответа сводится к тому, что хотя повесть написана весьма интересно, но, увы, дорогой друг, чуть бы пораньше, тогда она была бы актуальна.

Вот так: вчера – рано и невозможно, сегодня – поздно, хотя и возможно.

Автор и такому радуется. Правда, в чудесной рецензии звучит некоторое сомнение: неужто повесть рождена четверть века назад? Удивительное сомнение: к чему бы тогда эзоповский язык, туманные намёки, перевёртыши фамилий (Сталин, например, назван Нилат)?

Наш неприхотливый писатель никому не приводит доказательств, так как и не умеет. Выпив бутылку, забрасывает рукопись вместе с чудесным ответом на антресоль, повторив в дневнике фразу главного персонажа повести: «Произведений, не актуальных и через полтора века – не пишу...».

Думается мне, время определит верность этой самооценки. В его вещах всегда наличествует та художественность, которая и есть «главное условие правды» и долгожительства.

МИКРОРЕЦЕНЗИЯ

Конечно, нынче многое в его произведениях – не открытия. Это теперь всякий студент знает не меньше западного советолога. Но ведь написано это всё десятки лет назад, в пору, когда за хранение подобного легко переместиться в полночь с дивана на жёсткие нары. И вызывает лишь удивление: каким образом, не имея материалов, не роясь в архивах, он столько предвидит, предсказывает, угадывает интуитивно?

Вольно, как в сказке, излагая факты и горюя сквозь смех, он почти ни в чём не ошибается, обвиняя, к примеру, ещё в брежневские времена Евангелие от Карла, а не его последователей. И потому аллегорический облачный «Всадник над лесом» двигается не сам, но гонимый ветром времени. В лучшей его вещи, написанной в 60-х, «Странной повести», звучит та же мысль – о предзаданности событий и невиновности «винтиков» адской машины, хотя главный герой «винтиком» не становится, попадая в психушку.

Его письмо метафорично, построено на аллегориях, запутано фантасмагориями вперемежку с сермяжной реальностью. Иносказания его исходят не столько из стремления зашифровать подлинное, обмануть цензоров (их не обманешь), сколько из самого характера дарования, свойства художнического мышления. Он бы и сейчас так написал – сказочно реально, нарочито эклектично по стилю, как-то неумело.

В произведениях нет признаков времени, но, как замечает автор, подлинному художнику при всех стараниях труднее скрыть свой век, чем его обнаружить.

И всё же его повести и романы не о политике, а о любви. Он сатирик и грустный лирик, бытописатель и фантаст, портретист и карикатурист...

Так оцениваю этого Невидимого писателя, прочитав его пыльные рукописи. Может быть, иначе рассудят критики и читатели.

«Страшный», – называет его с иронией Илья Сельвинский. Я скажу – «странный».

У него и названия: «Странная повесть», «Странная гостья», странный «Всадник над лесом», «Странный Христос».

ЛАПТИ ПЛЕСТИ ЛЕГЧЕ

Я схожу с поезда, направляюсь к деревне Большая Званица. Никто, естественно, не может подсказать мне, где живёт писатель, но все знают, где изба «бороды». «Мужик артельный, добрый», – говорит поддатый попутчик...

Это Бунин мечтал о камине, вине и собаке, а когда я без стука открываю дверь артельного мужика, тот сидит у русской печи, пьёт вино, ко мне, как к родному, бросается чёрная овчарка.

...Удивление. Восторг. Объятия. За кухонным столом пьём под солёные грибы, под яишню с салом. Говорим. Дымим. Печь щёлкает орехи.

Рассказываю о наложнице Берии, о найденной на чердаке рукописи, о своём открытии скрытого прозаика. Его более удивляет не находка, а то, как я нашёл Большую Званицу.

На огонёк заходит его здешний дружок Пётр Семёнович Смуров, выпивает две чарки и деликатно уходит, чтоб не мешать встрече.

Вопрошаю: почему в наше-то время пишет в стол? Улыбается, рюмка потонула в бороде: – Э-э-э-э, труды тяжкие. А мудрый Скворода заметил: «Что трудно, то не нужно, что нужно, то не трудно». Лапти плести легче, чем их продавать...

Я обещаю неумеющему продавать лапти написать о нём хотя бы статью, что и делаю.

Когда поутру просыпаюсь, он сидит и пишет в горнице. Весь диван и пол устланы исписанными листами: главки, наброски, вставки. Ступить некуда, собака лежит под дубовым столом в ногах хозяина.

Восьмой час, а у него уже принесена вода, вымыта посуда, истоплена малая печь, нажарена свежая щука. Он так увлечён, что не слышит моих шагов. Осторожно поднимаю с пола страничку. Читаю маленькое белое стихотворение:

*Как дозвониться до него легко!
Когда же он звонил,
то слышал только частые гудки.
Звонил, дурак, заведомо глухим
и обладавшим всесоюзным слухом,
всезнайкам, книгочаям, душеведам,
но слышал только частые гудки.
И в снегопад, и в тополиный пух,
и в серый день, и в свежесть светлой ночи
звонил он другу, должнику, любимой,*

*но слышал только частые гудки —
все были заняты каким-то важным делом...
Ну что ж, седой с улыбкой вынул водки
и тоже
отключил свой телефон...*

ПИСЬМО ОТ СОЛЖЕНИЦЫНА

Не сетуя на вещественные потери, он всё же с сожалением рассказывает об утрате нескольких писем от людей, которых уважает. В 1969 году, прочитав «Один день Ивана Денисовича», он запрашивает Союз писателей выслать ему адрес Александра Исаевича. Отвечает заведующая отделом кадров некто Березовская: «Рязань, проезд Яблочкова, д. 1, кв. 11».

К письму прилагает рассказик о том, как в зоне молодой человек увлекается цензоршей и не без взаимности. Ответ, в отличие от издательств, приходит скоро. Короткий ответ. «Чудом получил Ваше письмо. Рассказик неплох. Спасибо за утешительные слова. А. С.».

Вскоре становится ясно – почему «чудом». Александр Исаевич уже находится «под колпаком», корреспонденция перлюстрируется, с внешним миром сообщается лишь с оказией. И на том конверте не было рязанского штемпеля.

В 70-м году в связи с «делом» С. Велицкого, приехавшего из Волгограда, у моего друга изымают рукопись «Записки графомана» и несколько писем от И. Сельвинского, а также коротенький ответ Солженицына.

– Жаль. Хотя где-нибудь в норах КГБ прессуется, – произносит он с улыбкой...

Чужих писем жаль большезваницкому отшельнику, а не свою рукопись в единственном экземпляре.

ВЕДРО КРАСНОЙ ИКРЫ

В одном из своих романов, где описывается, как на перроне метрополитена стоит бесхозное ведро красной икры, Валентин Катарсин вводит авторский текст. «Не может быть, фантастика! – восклицает иной читатель. – Но давайте доверять друг другу, любезный реалист. Я ведь всю жизнь верил в бо'льшую фантастику: когда-нибудь вы прочитаете мои книги...».

Затем и набросан этот беглый и сумбурный очерк, чтобы приблизить «когда-нибудь» в слабой надежде, что кого-нибудь заинтересует творчество любопытнейшего писателя, невосребованного, как теперь выражаются. Пока он жив.

Впрочем, как заинтересоваться человеком, если тот добровольно сделался Невидимкой? Добровольно ли?

ШМЕЛЁК НА ОДУВАНЧИКЕ

Я гощу у него осенью. Зимой он пожил в Питере, весной опять уезжает.

Я пишу ему обещанное весной. За окном стучит капель, свистит скворец, шумит город. Он суетится, митингует, спешит куда-то, бойко издаётся, толкается в очередях, предпочитает Булгакову и Скрябину Собчака и трель горластой рок-мошки.

В небесах возвращаются издалека и гаршинские лягушки. И те, что кричат: «Это я придумала!» – падают: кто на землю, кто в болото, кто на асфальт.

А в тверской деревне, представляю, спокойно сидит сейчас на крыльчке странный писатель, никуда не спеша, не толкаясь в толпе, не играя во временные игры, счастливый тем, что пристально наблюдает, как проснувшийся шмель качается на простом цветке жёлтого одуванчика.

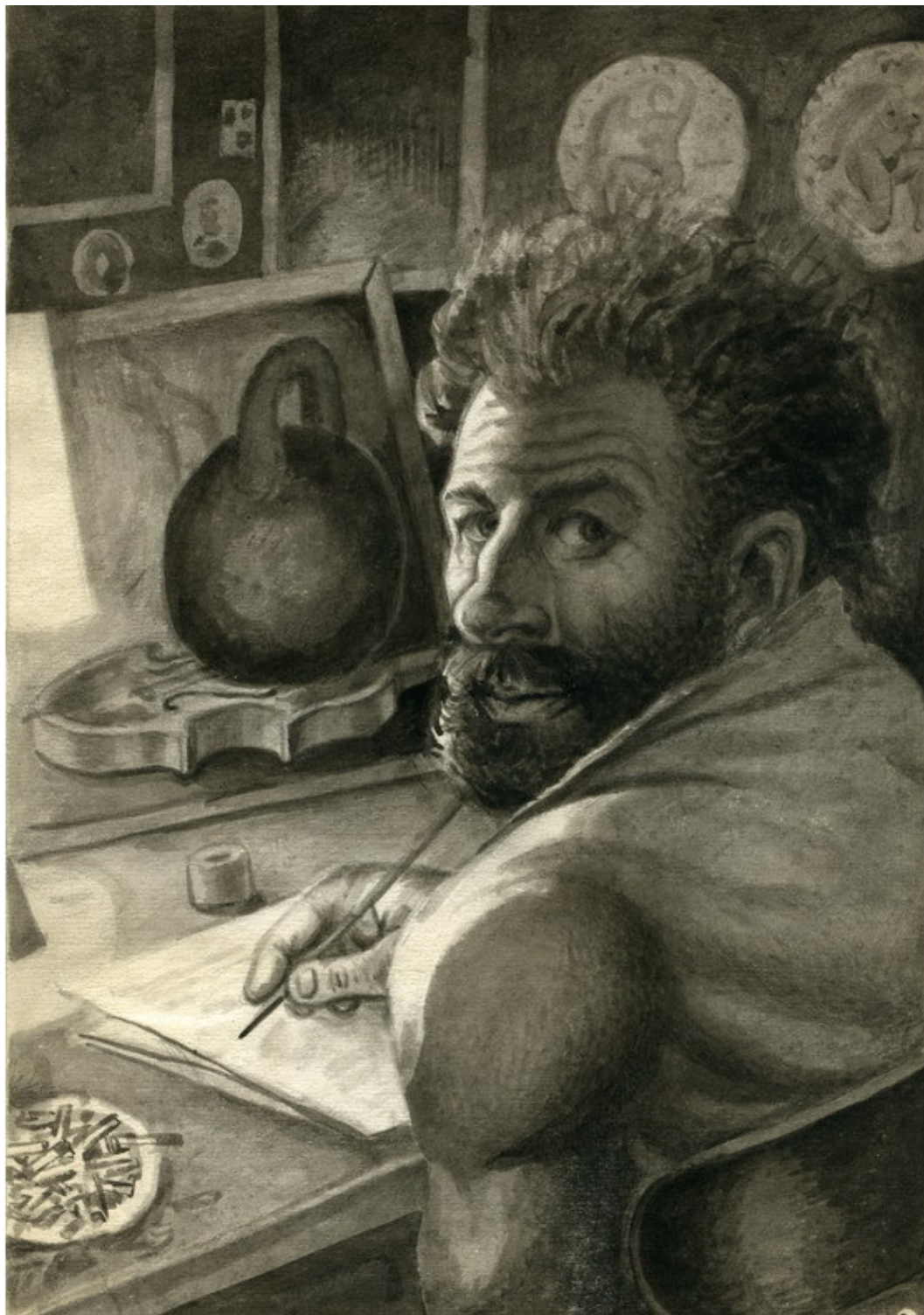
Сидит всевидящий, а сам невидимый...

НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ.

Член Союза Писателей России

1997г.

Странная повесть



Автопортрет

«Я советую вам остерегаться всех дел,
требующих нового платья, а не нового
человека...».

«Если вам предстоит какое-то дело, попробуйте

совершить его в старой одежде».
(*Генри Торо*)

ПЕРВОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Толчком к написанию этой повести послужила встреча с человеком такой по-детски чистой души, что люди, по обыкновению, определяли его фразой: «Не от мира сего».

Странное определение. Да бог с ним.

Общение с этим милым и наивным сердцем привело меня к выводу, что если бы мир состоял из таких людей, то это был бы счастливейший из миров.

Как сделать, чтобы люди стали лучше? Этот вечный вопрос остаётся открытым.

Благие намерения утопистов, моралистов и художников не подвигали человечество к общественной гармонии. Материалистическая наука отыскала корень зла в социальном устройстве.

Но оглянемся вокруг себя. Большинству людей надо много снеди и скарба. В этом нет беды. Беда в том, что достаток и нравственность – не сообщающиеся сосуды. Голова наполняется благими мыслями, а метафорическое сердце – добрыми чувствами, когда пустеет кошелёк. И наоборот.

Общение с этой чистой душой направило меня к той не новой идее, что прежде всего, не оставляя наивных усилий улучшить окружающих, необходимо заняться улучшением самого себя, насколько возможно усмирить генную предзаданность и видовые инстинкты.

В одиночку невозможно усовершенствовать мироустройство, но для усовершенствования собственной головы и сердца вовсе не нужны ни партии, ни полки.

А ведь не извне, а именно оттуда исходит, например, радость, что моя дочь, хотя и работает простым почтальоном, но она честный и добрый человек. Там же, в этих органах, зарождается глупое недовольство из-за нехватки маслины в солянке или непоступления плутоватого оболтуса в театральную студию.

Сакраментальный вопрос: как улучшить людей? – имеет один ответ: уповая на социальные перемены в сторону справедливости и достатка, каждому в первую очередь необходимо улучшить себя, сокращая до минимума тот вечный зазор между «знаю, как жить нравственно» и «как поступаю». Как это сделать – знает всякий нормальный человек. Ведь если вы хотя бы и справедливо выпороли ребёнка, не помогли тому, кому могли помочь, ответили на обман обманом – то очень скоро приходит ощущение стыда за дурной поступок.

И хотя большинство людей найдёт способ заглушить стыд опереттой, вином или даже ссылкой на общественную необходимость, в душе остаются осадки.

Стыд минуты не проходит, но переходит в стыд жизни.

Редко кто хочет жить с постоянным ощущением зубной боли.

А стыд – физическая боль. Дурной поступок хочется забыть, однако это лучший способ помнить.

Люди не равны весом тел, массами мышц, умом и дарованиями, но гены сопереживания, сострадания, наивности и добра заложены в клетках каждого, если эти клетки здоровы и не отягощены вином...

Мой милый друг Серафим Иванович работал в деревне пастухом, но это был культурнейший и нравственно высочайший человек, так как основы культуры и нравственности содержатся не в знаниях, месте в обществе и воспитанности, а в органическом уважении и терпимости к ближним.

Его светлой памяти посвящаю я это скромное сочинение.

1967 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ ВТОРОЕ

Что ни день, то дата, юбилей.

Если бы люди помнили, когда они в первый раз обманули, слукавили, выпили стопку, зарезали кролика, – юбилеев было бы ещё больше. Но человеку свойственно помнить хорошее. Я тоже, хотя и в одиночестве, отметил весёлый юбилей – десятилетие написания «Странной повести». Есть банальная словесная конструкция: «Мне бы ещё одну жизнь, я бы прожил её так же, как предыдущую».

Глупая, бездумная байка. Любому – и мне в том числе – дай такое бы чудо, переиначил бы всякий день жизни.

И повесть сегодня я написал бы по-другому. Впрочем, ни один издатель не мешал и не мешает мне это сделать. И всё же я ничего не менял. Десять лет пролежала моя рукопись в синем портфеле, и я лишь регулярно снимал с него влажной тряпкой пыль, из которой (если бы её собрать) можно скатать не одну пару валенок...

Дерево можно обратить в гору щепы ради создания одной спички. Спичкой можно спалить тайгу, можно поковырять в зубах. Данная книга – спичка, и всякий волен распорядиться ею по-своему...

Перечитав нынче повесть, я убедился, что ничего странного, замысловатого или того хуже – новаторского в ней не содержится. Особенно я всегда боялся этого новаторского ярлыка. Что за новатор? Откуда вылез? С луны свалился? В колбе возвращён новым Петруччи?

Нет, писать ли, петь ли таким манером, чтоб до тебя никто так не писал, не пел, – невозможно, как невозможно жить жизнью, отличной от предков. Отыскать возможно лишь потерянное, а не то, чего не было.

Я этих новаторов видывал. Сойдутся витийствовать до хрипоты, всякий своё болото хвалит, а что получится: начнут с тайны стилия, а кончат мордобоем...

Конечно, любое постижение вещи предполагает некоторую подготовленность мышления. Не каждый конюх сходу поймёт специальную теорию относительности. Отчего же он должен пребывать в телячьем восторге от непростого холста или романа? Они не менее сложны, чем СТО.

Нынче книги, оказывается, любят поголовно все. Статиста послушаешь – так, по его мудрёным выкладкам, любой гражданин в сутки по сборнику средней тяжести проглатывает. Статистика – вещь великая. Например, дядя Вася в день литр водки потребляет, а дядя Лёва – и в рот не берёт, даже на весёлых поминках. А в среднем выходит, они алкоголики, так как выпивают по пол-литра в день. Так и книгочеи.

А если спросить в ныне модном интервью иного заслуженного артиллериста или не менее заслуженного боксёра, что любит один помимо баллистики, а другой – кроме узаконенного мордобоя, каждый ответит: «Люблю книги». Ведь это всё равно что сказать: «Люблю блондинок». И книги, и блондинки разные.

За что мне любить вот этот бумажный кирпич, всё достоинство которого в том, что листы его сделаны из простой, а не наждачной бумаги? Я бы этого создателя «кирпича» к суду привлёк. И судил не по хоккейным законам, где дают две минуты штрафа за то, что надо бы наказать двумя годами строгой изоляции.

Не исключено, что моё мнение предвзято. Я сроду относился с опаской к тонким женщинам и толстым книгам. Наверно, везде есть и исключения. На пляже, например, не грех обнажиться до известных пределов, однако позавчера я видел там мужика, лежащего на знойном песке в бостоновом костюме...

Недавно один не очень быстрый литератор заметил, что человеку надо не много книг – штук двести. Многовато! Разумнее обойтись десятью. И если эти десять – настоящие произве-

дения искусства, их хватит читать и перечитывать всю жизнь, открывая всякий раз, при всяком новом прочтении, в книге книгу.

Я лично, с тех пор как научился читать медленно (а ведь есть шарлатаны, ратующие за скорочтение), обхожусь тремя книгами. И подобно тому, как моряки дальнего плавания после всякого продолжительного рейса обнаруживают в собственной жене, казалось бы, изученной до последней тайной родинки, всё новые и новые достоинства и открытия, – я, поплавав в мире пустых поделок, возвращался к своим трём книгам, находя в них новые чудеса.

Я и пишу, как читаю. Водить по бумаге карандашом или пером ради достатка и славы, то есть писать торопливо и нечестно, – вред великий и для сильных дарований. И поскольку я себя к таковым не причисляю, а для удовлетворения живота и честолюбия мне надобно не более, чем это просит здоровое естество, – я сочиняю медленно и без оглядки на цензора.

Тут нет оговорки – именно сочиняю. Разве написанное людьми не есть плод вымысла? Если же мне укажут на так называемые документальные произведения, основанные на документах, протоколах, циркулярах, то в них вымысла ещё больше, чем в беллетристике.

Мне скоро пятьдесят ударит, а я никуда не тороплюсь и собираюсь состарить не одну настольную лампу.

В отличие от ремесла, в искусстве нет сдельщины. Чем выше художник, тем больше разница между продукцией и оплатой. А вернее – недоплатой. Куда спешить? Я не борзая, не газетчик, не референт. А заработать сыну на пальтишко, дочке на платице или незваному гостю на бутылочку вина я умею и не литературным трудом.

Да и то – стыдно сказать – разве труд писать картину или сочинять стихи? Это наш великий классик, переутомившись от эпопеи, отдыхал за сапожной лапой или крестьянской сохой. Я же, устав от сохи и дратвы, всегда отдыхал под неярким светом настольной лампы.

Плоха ли, хороша ли моя повесть – я её никому не решился ещё показать. Во-первых, все знакомые всегда чем-то заняты более достойным, чем чтением неопубликованной прозы. Во-вторых, если какой-нибудь сверхволевой интеллект, отказавшись от попойки или бильярда, осилил бы моё сочинение, то всегда указал бы мне на башмак сорок второго размера, хотя мне в пору сороковой. В-третьих, мне всегда было лень отпечатать на машинке лишний экземпляр, а поскольку он у меня единственный, нет уверенности, что торопливый рецензент не завернёт в страничку рукописи селёдку или употребит лист для более простого дела.

А я люблю свою книгу как третьего ребёнка.

«Неужели нет у вас друга, чтобы прочёл рукопись внимательно, дал честную, объективную оценку, поругал, похвалил и при этом не потерял ни листа в сортире?» – спросит наивный молодожён. «Нет», – отвечу я. Другими Бог не сподобил. Приятелей было полгорода, а может, и больше. Но верно говорят: если хочешь потерять приятеля, дай ему займы денег. Именно следуя этой сентенции, я избавился от них, понеся, правда, значительные убытки.

Однако я не премину дать займы последнюю сумму всякому, кто ещё не забыл моего адреса.

Ещё скажу: за большинство напечатанных вещей мне стыдно. Вроде бы роль поглупей актёра.

Перечитав же теперь повесть, я обнаружил в ней тьму недостатков, но стыда не ощутил.

В пору, когда она писалась, мне думалось: не многовато ли в ней гротеска, гипербол, сильных преувеличений?

За прошедшее десятилетие я увидел, что всё созданное фантазией существует на самом деле и каким-то непостижимым образом было мной предвосхищено.

Будущий читатель, если ему удастся познакомиться с истинной историей моего времени, заметит, что в нашем рассказе нет ни одного явления, случая, сцены, фразы, которые являлись бы фантазией. Конечно, кроме дотошных любителей архивной пыли, большинству смерт-

ных не удастся сверить факты книги с фактами истории. В таком случае поверьте мне на слово. Данная повесть сама по себе есть хроника определённого отрезка времени.

1976 г.

ГЛАВА 1

Командное первенство мира по воровскому делу началось с парада. Неся жёлтый штандарт с изображением «фомича» на женском бюстгальтере, открывали парад прошлогодние чемпионы: эфиопские жулики-моргуны.

За ними, нестройными колоннами, шли бразильские медвежатники, мозамбикские чистоделы-донники, филиппинские домушники, русские скокари-садильщики, португальские туфтовики-кукольники, бессарабские конокрады-чальники, перуанские верхушники, чилийские пистонщики-отмазчики, канадские коцальщики-притырщики, марочники Верхнего Гондураса, шанхайские стопорилы, ливанские оборотчики-мазуны, варшавские мокряки, люксембургские золотари-браслетчики, болгарские лопатники-метуны, монгольские муфтари-налётчики, гаванские бачники-исполнители, синайские лапсердачники, новозеландские тамбурные баульщики, бомбейские крадуны-джайны, корейские жуки-чердачники.

Мужскую группу парада завершали четыре шведских щипача-крысятника, только что вернувшихся из гастролей по Гонолулу и Канарским островам, а сразу же за ними двигались аргентинские клептоманки, сиамские вафельщицы-однодневки, датские пристяжные воровайки, персидские таскухи-локшовки, ирландские лярвы-шептухи и мадридские утренние плутовки.

Трубы и дудки звучали над стадионом далёкой столицы одного из штатов Нового Света, а в городе Мамбурге, расположенном на совершенно противоположном боку земного шара – настолько противоположном, что если бы в стадион этой столицы воткнуть супергигантскую шпагу, то её кончик вылез бы, как некий шпиль, как раз на центральной площади славного города Мамбурга, где в то же самое время происходили невероятнейшие события.

Однако не будем спешить. Мы ещё вернёмся к рассказу об этом первенстве. Сначала опишем Мамбург тех времён, когда его ничего не потрясло.

ГЛАВА 2

Жизнь в этом городе, отмеченном кружком лишь на секретных и узковедомственных картах мелкого масштаба, была тишайшей. Спокойствие было столь же характерно для него, как землетрясение для Шурдынска или наводнение для Нижнефекальска. Походка, движения и мысли горожан отличались медлительностью удивительной. В Мамбурге – тишайшем месте нашей суетной, катастрофически ускоряющей свой ритм планеты – неторопливо ели, мылись в бане, любили и даже старели.

Служащие мамбургских судов и не ведали, что существуют на свете уголовные дела, и основным занятием тихих учреждений были бракоразводные процессы, тянувшиеся так долго и так обстоятельно, что неизбежно кончались примирением супругов.

Молодые стряпчие и седые магистры права единственной юридической консультации города, за неимением клиентуры, с утра до вечера чинили карандаши, перечитывали речи Эберсона и Собакина, составляли театральные чайнворды и задумчиво писали мемуары.

Работники пожарного дела, для которых возникновение пожара являлось таким же невероятным фактом, как шествие по городу ихтиозавра, изнывая от полнейшего безделья, разыгрывали турниры по стоклеточным шашкам со стражниками ратуши и тачали сапоги из пожарных шлангов.

В городе существовало некое учреждение, настолько секретное, что никто толком и не знал, в чём же его секрет. Ровно в десять часов утра многочисленные сотрудники этого тайного предприятия безмолвно усаживались за рабочие столы и сосредоточенно углублялись

в толстые подшивки прошлогодних газет и научных ежегодников столетней давности. Нельзя сказать, что никто из них не хотел работать. Наоборот, как все нормальные люди, они тайно горели желанием что-нибудь производить, но что – оставалось для всех непостижимой загадкой. В каждый полдень отделы обходил глава этого учреждения, человек необычайно сильного интеллекта, и сотрудники ждали каждый раз, что он скажет нечто очень важное и секретное. Но он, не проронив ни звука, глубокомысленно удалялся в кабинет.

Было в городе два издательства: художественное и научное. Художественное издательство за двадцать лет своего славного существования ничего не издало, кроме небольшого проспекта с названием «Нашему издательству двадцать лет».

Итогом многолетней работы научного издательства явилась стихотворная брошюра некоего Мандуса Рубашкина: «Как пользоваться туалетной бумагой». Надо заметить, что никто в городе туалетной бумаги в глаза не видывал, и ввиду отсутствия оной брошюра пользовалась большим спросом.

О, славный, благочестивый Мамбург, презирающий шум, суету и спешку! Когда прогресс техники в образе трамваев, троллейбусов и двигателей внутреннего сгорания коснулся города, мэр его, прославившийся тем, что просил в своём завещании положить его в гроб не на спину, как всех людей, а на живот, издал замечательный указ, по которому всем видам наземного транспорта запрещалось двигаться быстрее пешеходов.

Даже гнать и пить самогон умели в Мамбурге тихо, по-чёрному. И хотя редкий житель не имел самогонного аппарата, всё же самогонование не было типичным явлением славного города.

Даже ветры, приближаясь к Мамбургу, как-то затихали, а грозовые облака переставали громыхать, метать молнии и, окропляя тихим дождичком ветхие постройки, смиренно проплывали над городом.

За последние полсотни лет дважды в Мамбурге было нарушено равновесие и тишина.

Впервые это произошло восемнадцать лет назад, когда поливальная машина раздавила голубя сизой масти на бульваре Святой Берты. Такой пустяк остался бы незамеченным в любом населённом пункте земного шара, но в Мамбурге он поднял настоящий переполох.

Местная газета «Благочестивый католик» в течение нескольких недель пестрела заголовками: «Гуманизм и прогресс техники», «Эволюция хамства», «Голубь и лихач» и т. д.

Известный в своё время далеко за пределами Мамбурга поэт Антон Педотти опубликовал в нескольких номерах газет оду «Сизый турман». У водителя поливальной машины навсегда отняли права и отлучили от церкви. Монашеский орден любителей природы провёл месячник охраны пернатых. Начальник автобазы отделался строгим выговором, так как имел второй разряд по настольному теннису.

Прошло несколько месяцев, и в городе воцарилось спокойствие.

В Центральном парке культуры и отдыха известный доминист Еремей Кабанис давал сеанс одновременной игры на двадцати девяти столах. В «Благочестивом католике» возобновилась викторина «Знаешь ли ты Апокалипсис?» с главным призом – волосами праведника Фавла. Продолжились работы по строительству новой бани с парилкой и грязевым водоёмом. Заработали хлебопекарня, родильный дом и конский завод. И снова – событие: на улице им. Первого Апреля в четыре часа утра в бакалейном отделе продуктовой лавки взорвался огнетушитель, осколки которого порвали вымпел «Лучшая лавка города» и сбили шляпу с каноника Савостия, неведомо почему сидевшего ночью на табурете с молодой уборщицей.

Вскоре следствие установило, что огнетушитель был наполнен брагой и взорвался по причине сильного перегрева. На сей раз, хотя начальник пожарной части имел первый разряд по stokлеточным шашкам, он был уволен с должности. Несколько дней испуганные горожане избегали посещения магазинов, питаясь старыми запасами, пока вышеупомянутый мэр не издал указ: уничтожить все огнетушители в городе.

Прошло время, пришла тишина. Медленно потекли годы, и вдруг этот оазис спокойствия стал свидетелем необычайных, необъяснимых происшествий.

В одно прекрасное и совершенно безоблачное утро по городу пронеслась машина. Обалдевшие жители, привыкшие к скоростям катафалков, не успели разглядеть ни её номера, ни цвета, ни марки. Машина же, не обращая внимания на светофоры, свистки и уличные знаки, мчалась в сторону аэродрома. На проспекте Небесного Зачатия она задела бампером дилижанс с новобрачными и сбила с ног четырёх капуцинов, идущих к заутрене.

Через некоторое время, когда несколько стражников, подталкивая в зады алебардами, вели группу молодых ботаников на пункт добровольной сдачи крови, та же сумасшедшая машина сбила самого молодого донора и умчалась, не притормозив.

Уже одного этого было бы достаточно для возбуждения Мамбурга. Однако дальнейшие события оказались ещё более загадочными.

В 11 часов 37 минут диктор местного вещания прервал чтение папской энциклики и гадким тенором запел популярный романс «У толстушки Фахи столовались монахи...».

В 12 часов 10 минут у входа в гончарную гильдию какой-то горожанин влез на афишную тумбу и провозгласил себя кардиналом Пипсом. Скинув брезентовую робу, он произнёс страстную речь, призывая стереть с лица земли Нижнюю Идрисовку. Собралась толпа. Оратора стащили с тумбы и переместили в каземат ратуши, где выяснилось, что новоявленный кардинал – никто иной, как бухгалтер мыловаренного завода Феоктист Меерзон.

В то же самое время на набережной Бренного канала маляр второго разряда Серобабин, производивший окраску пивного ларя, начертил на мостовой нецензурное слово и нечто, напоминающее «кривую Ридберга».

Всех виновников этих нелепых историй пробовал допросить старший сыщик города Кро-нид Папатач, но тщетно. Диктор радио молчал, обводя помещение нехорошим, тупым взглядом и всё время порывался затянуть вышеуказанный романс. Он не узнавал ни жену, ни тещу, вызванных для опознания, а председателю кассы взаимопомощи пригрозил кулаком, когда тот попросил погасить задолженность за шесть месяцев.

Бухгалтер мыловаренного завода в сильнейшем возбуждении продолжал настаивать, что он кардинал Пипс, и призывал к истреблению Нижней Идрисовки.

Лишь маляр второго разряда вскоре пришёл в себя. Он разрыдался, утирая грязными кулаками слёзы, и сказал, что ничего не помнит после того, как к нему подошёл человек в соломенной шляпе с портфелем в руке.

И, наконец, вечером того же дня произошло очередное чудо.

В самый разгар циркового выступления известного иллюзиониста Лазаря Кунца, когда он собирался бросить в кипящий котёл пожилого униформиста и нескольких карликов, на середину манежа вышел человек в соломенной шляпе с портфелем в руке. Он поднял руку, и все зрители, в том числе и Лазарь Кунц, моментально уснули крепчайшим сном.

Город был парализован. В столицу летели депеши.

ГЛАВА 2 (а)

Большинство людей живёт уныло и нервно. Поглощённые некоей идеей, скажем, написанием необычайно важного доклада или отчёта, каким-то новаторским усовершенствованием в механизме шпиндельного станка, продвижением по службе, – эти люди вовсе не замечают ни весенней капли, ни радуги в небе, не наслаждаются съедаемым обедом, так что иного спроси – не помнит, что ел. Они машинально пьют молоко или пиво, глядят в телевизор, а думают о ссоре на службе; собирают грибы, но думают не о грибах, а о нежелательном приезде тёщи из деревни; безрадостно начинают день, не замечают событий души, что-то делают – чаще всего, чего не хотят – и вечером, ложась в свою постель (чего тоже не ценят), не почитают за великое чудо неповторимо прожитый день.

И все торопятся. Вроде и день нерабочий, а всё бегом: бегом в магазин, бегом в гости, бегом из кинозала, когда картина лишь движется к концу, бегом пьют, едят, любят так, что, познакомившись в понедельник, галопом изведав всё тайное и запретное, они к субботе смертельно надоедают друг другу.

О, нет! Иван Александрович Торк не спешил, не бежал, не гнал время. Просмотрев, например, картину, он долго не покидал зал и сидел в глубочайшей задумчивости, из которой его выводил обычно лишь администратор. И уж коли чистил Иван Александрович кастрюлю, то делал это так обстоятельно, так сосредоточенно, что не мог при этом слушать радио или думать о чём-нибудь другом, кроме кастрюли.

В молодости, работая каменщиком, он никаких рекордов не ставил, считая, что, как в спорте, если и будешь неделю-другую мир удивлять рекордами, то очень скоро уже не на пьедестале почёта тебя увидят, а на больничной койке. «Работать надо ровно, – говаривал он. – А если каменщик за день построит дом, для возведения которого необходим год, то я бы судом присудил поселить этого рекордиста в доме его кладки...».

Рассказывают, как поздним вечером к одному сельскому обывателю постучали в окно и спросили: «Хозяин, дрова нужны?» – «Нет, не нужны», – ответил полусонный, потревоженный с постели хозяин. И когда утром вышел он во двор, то увидел, что дрова его увезли.

Мне кажется, в дачной байке вор был литератором, ценившим бережное отношение к слову.

Иван Александрович Торк в подобном случае, конечно же, не спеша любопытствовал: что за дрова, каких пород, из каких лесных массивов доставлены? Впрочем, если бы и увели у него таким образом берёзовый штабель, он бы нисколько не расстроился, а наоборот – развеселился, поднёс бы к ноздре щепоть родезийского табака, раз девять кряду чихнул, а после, взяв в почтовом ящике свежую газету, полчаса просидел в клозете.

Он обладал даром, а можно сказать – искусством – всякую минуту сознавать себя в этом мире, всякое дело делать с огромным удовольствием. Пробудившись утром, он не вскакивал как ужаленный, не хватался тотчас за гантели или за полотенце, не мчался в трусиках на кухню, торопливо выпить кружку огуречного рассола или проглотить холодную котлету. Нет! Открыв глаза, Иван Александрович долго лежал, созерцая потолок, или узор на обоях, или портрет покойной жены, сладко вспоминая странное, но всегда приятное сновидение, представляя всевозможные удовольствия нового дня, который, как мы увидим вскоре, всегда состоял из одних удовольствий у этого великого жизнелюбца.

Затем, медленно, смачно потягиваясь, он вставал, улыбаясь, подходил к окну и, какая бы на дворе ни стояла погода, произносил: «Чудесное утро!».

Улыбка не сходила с его лица, когда затем он умывался, громко фыркая, прихлопывая себя по щекам, волосатой груди и животу, приговаривая вслух: «Какая благодать, не вода, а мёд с квасом» или что-нибудь в этом роде.

Иван Александрович даже прозаически обыденное, естественно, ничего не значащее для других людей дело делал не вдруг, не с наскоку, а как бы предвкушал его. И если на столе его журчала, скажем, яичница из двух яиц или в тарелке с рисовой кашей таяло золотистое масло, то он, сев за стол, не сразу хватался за ложку, а некоторое время сидел, созерцая, любясь приготовленным завтраком, нарочно оттягивая или растягивая удовольствие. А приступив наконец к трапезе, долго держал на вилке или ложке всякий кусок, глотая слюну, причмокивая, возбуждая обоняние, и, уж отправив что-либо за щёку, пережёвывал тщательно и капитально, с блаженной улыбкой, словно это была не яичница, не каша с маслом, а нечто изысканнейшее – копчёный сиг или омуль. И, конечно, ни о чём не думал, как только о еде. Иван Александрович всякую пищу и питьё не просто потреблял, как большинство чем-то очень занятых людей, а дегустировал. Он как бы всё в жизни дегустировал с наслаждением, со вкусом, неторопливо.

Выходя на улицу за пивом или бутылочкой портвейна, даже если по зонту барабанил дождь или град, вдыхал воздух полной грудью и мысленно твердил: «Господи, какая благодать!». А если уж на улице сверкало солнце и трещали воробьи, то описать его восторги под силу не всякому.

Тут уж он двигался в каком-то неземном озарении, улыбаясь всем прохожим и беспрестанно шепча слова умиления и благодарности так, что прохожим казалось: этот человек узнал только что какую-то наисчастливейшую новость.

И уж, конечно, не пил Иван Александрович пиво у ларя, второпях дуя на пену, слушая матерщину мужиков и грубые крики продавщицы. Избави бог и бутылку вина, как говорится, «раздавить» с кем-нибудь и где-нибудь, прячься и таясь, как это делают иные за углом или даже в общественном туалете.

Он приносил бидон домой, наливал напиток в бокал и, держа его в вытянутой руке, долго смотрел на просвет, наблюдая, как гаснет с лёгким шипением кружево пены, как радужно искрится она, и воздушные пузырьки скользят вверх за янтарным стеклом. «Лепота, сплошная лепота», – приговаривал он шёпотом, решившись наконец пригубить пивка или глоток вина, которое иные люди пьют почему-то, кисло морщась, словно бы через силу, как горькое лекарство.

Затем открывал рот и ласково, как бы с некоторым сочувствием глядя на кильку, медленно приближал её и, лишь коснувшись губ, закрывал глаза, ни о чём не думая кроме кильки.

Слегка охмелев, Иван Александрович начинал сладко вспоминать о чём-нибудь приятном или же, наоборот, мечтать о будущей поездке на дачу, прогулке по парку или надбавке к пенсии, не торопя, впрочем, события и время, так как любая минута его жизни была счастливой, и он сознавал это счастье.

«Как хорошо!» – произносил вслух Иван Александрович, ложась затем на диван и беря с полки какой-нибудь однотомник, наслаждаясь всяким незначительным абзацем и вскоре засыпая.

Надо отметить, что почитать Иван Александрович любил, особенно после обеда, пребывая в блаженном состоянии. Однако отдавал предпочтение современной ему литературе. Классику, положим, предыдущего века, он не уважал: её и читать затруднительно, и не то чтобы в сон потянет, а вовсе не уснёшь, и всякие мысли в голову полезут.

Может возникнуть вполне уместный вопрос: неужели Иван Александрович никогда не огорчался, не ведал грусти, не впадал в хандру, не гневался в этой жизни, где всегда было, есть и будет множество причин и грустить, и гневаться? Наконец, неужели у него никогда ничего не болело, и не знал он недомоганий телесных?

В том-то и секрет, что всякие две вещи имеют обратную связь. Такова диалектика. И если в здоровом теле – здоровый дух, то, обладая здоровым духом, человек долго, порой до глубокой старости, сохраняет и тело в крепости.

Иван Александрович в жизни ничем не хворал, кроме свинки и коклюша в раннем детстве, и это, конечно, оттого, что в жизни и не расстраивался. Да, собственно, отчего расстраиваться? Есть ли для этого серьёзные и разумные причины? Нет их. Умирают родные и близкие – так ведь кто же не смертен, и что ж огорчительного в такой неизбежности? Иван Александрович и тут испытывал даже удовлетворение, что вот ведь умерла, скажем, жена не на виселице, не в огне костра, а опочила безо всяких мучений на своей койке. Он не только не плакал, не рыдал, не стонал, как делают иные на кладбище, но стоял спокойно, бодро, сдерживая не слёзы, а улыбку, оттого что улыбаться над могилой родной жены вроде бы и неприлично.

А если случалось, например, война, наводнение или землетрясение – что происходило, к счастью, крайне редко – Иван Александрович опять не терял весёлости, разумно рассуждая, что если он примется рыдать и огорчаться, то это никакого влияния не окажет на ход войны или иного катаклизма.

Однако это всё беды крупные, чуть ли не глобальные, а жизнь наша более полна мелких неприятностей, которые этот великий весельчак не только принимал как должное, но, наоборот, превращал любую неприятность в радость и благо.

Предположим, получил он по выходе на пенсию однокомнатную квартиру с совмещённым санузлом. Вероятно, мало кого обрадует такое странное совмещение. В науке даже существует термин «парадокс совмещённого санузла», когда, например, зять моется в ванной, а теще припёрло по естественной надобности, в чём я лично не вижу никакого подвоха. Но в семье возникает скандал, доходит почти до рукоприкладства. Тёща орёт: «Вылезай скорей!», зять – нарочно не вылезает. А ведь ни тот, ни другой не виноваты ни в чём, и, что самое интересное, – не виноват и архитектор. Никто не виноват.

Но Иван Александрович полюбил и эту строительную нелепость, этот архитектурный ляпсус, обратив его в величайшее благо и достоинство, и всегда, сидя в ванной, с наслаждением смотрел на унитаз и наоборот. Он даже хвастался всем знакомым совмещённым санузлом, искренне жалея людей, имеющих хотя бы жидкую перегородку между этими противоположными объектами.

Или, например, смотрит Иван Александрович телевизионный репортаж или интервью – да такое скучное, такое неправдоподобное, что иной правдоискатель плюнет с досадой, а то и вовсе выключит телевизор. А Иван Александрович весь телевизор не выключит, вырубит лишь звук и начнёт хохотать, как малый ребёнок, дивясь произведённому эффекту, при котором человек на экране рот разевает, а о чём говорит – неведомо. А это поистине несравнимое наслаждение – одним малым движением пальца вырубить звук, вмиг отнимая от какого-нибудь лектора или доктора его великое искусство говорить ни о чём, глядя в шпаргалку. По мне, такой деятель, читающий по бумажке, – есть всегда деятель с выключенным звуком, и я разделяю удовольствие Ивана Александровича Торка: лишить малым движением пустомелю главного его орудия – дара пустопорожней речи.

Кстати, это действительно дар божий. Всякий человек может проговорить по бумажке в течение нескольких часов. Но выстроить свою речь так, чтобы при этом ничего не сказать, – дар настолько редкостный, что, видимо, не зря он ценился во все времена и при всех общественных устройствах.

И когда потом диктор объявлял: «Вы слушали такого-то, имярек, каноника, пастора или ксендза», Иван Александрович Торк, сладко улыбаясь, отмечал: «Какая самоуверенность с вашей стороны полагать, что мы слушали...».

Редко, конечно, но случалось и ему ехать в трамвае или автобусе в часы пик. Не стоит и говорить, как это малоприятно и даже опасно: ругань, толчея, локти, тычки вбок и спину. Кто-то в давке потерял ботинок, кому-то оторвали хлястик или карман. А Иван Александрович тихонько притулится к какой-нибудь удобной женщине и не то чтобы возмущается или страдает, но лицо его выражает неподдельное удовольствие и приговаривает он про себя, ощущая тепло женской спины: «Как хорошо! Этак ехал бы и ехал, хоть до смежной Галактики».

Однажды, стоя в очереди за конской колбасой, Иван Александрович, приблизившись уже к прилавку, усомнился в свежести этой колбасы, за что совершенно резонно продавщица во всеуслышание назвала его дураком. Многие читатели уже потирают руки: мол, уж тут-то должен не выдержать Иван Александрович, оскорбиться, ответить продавщице той же монетой, попросить жалобную книгу... Увы! Ошибаетесь! Он лишь как-то торжественно просиял, выпятив грудь, привстал на цыпочки и гордо окинул очередь, словно народный артист перед узнавшим его народом.

Он жил в новом районе, близ аэродрома, и над самым домом его, над самой крышей, то и дело пролетали самолёты, да так низко, да с таким рёвом, что весь хлипкий дом содрогался, вибрировал, а в сервантах жителей звенели фужеры и стопки.

«Вот ведь головотяпство: борются с шумами, запрещают сигналы автомашин, громкие радиолы, а тут днём и ночью над всем микрорайоном грохот и треск», – ворчали горожане, многие из которых, благодаря этому грому рукотворному, доходили до нервных расстройств и инфарктов.

Иван Александрович воспринимал этот кошмар как благо, и когда начинал приближаться, нарастать гул самолёта и дом колотило мелкой дрожью, радостно подходил к серванту и с детским любопытством слушал, как позванивают две единственные рюмочки, которые он специально приставил друг к другу для усиления тона.

Ну а ночью, если уж спал Иван Александрович, то тут не проснулся бы он, заведи этот реактивный двигатель хотя бы рядом с его диваном. «Сплю я так крепко, – говаривал он, – что приставь во сне к моему уху тромбон и дунь что есть мочи – я даже и не вздрогну».

Жители иных районов негодуют и власти клянут, если на неделю электричество отключат, или в морозы батареи парового отопления не топят, или полгода воды горячей нет. А Иван Александрович ликует, что вода холодная течёт из крана, что хлеб не подорожал, курить не запретили на улицах.

А уж если вовсе всё запретят и отключат, то он и тут не падёт духом и найдёт утешение, что не наступило великое оледенение, всемирный мор, извержение вулкана и вообще не пришёл конец света.

Словом, если люди во все времена наивно ждали от будущего перемен к лучшему, наш мудрец всякий день благодарил судьбу, что хуже не стало.

Повторяю: Иван Александрович – редчайший экземпляр человеческой породы, и, несмотря на то, что мне доставило бы огромное удовольствие (хотя я никогда не писал в состоянии уныния или хандры, а если таковые меня частенько одолевали, не брался за авторучку) сделать этот образ чуть ли не центральным, главенствующим, я всё же намеренно совершу некий фокус, и феноменальный Иван Александрович теперь встретится нам лишь в конце рассказа, почти на последней его странице.

И, плюнув на палец (или на последнюю страницу), иной читатель может сказать: «А зачем он вообще нужен, этот Иван Александрович? Не даёт ли право его ничем не связанное появление в начале и конце заключить, что автор просто-напросто не владеет азами композиционного построения вещи?» Согласен.

Однако должен сразу же предупредить, что я писатель – как бы это выразиться помягче – странный. В повествовании моём будут встречаться совершенно разные по стилю и содержанию части, неведомо где и когда живущие персонажи, изображённые то карикатурно, кукольно, то весьма реалистически; будут соседствовать сермяжный быт и странная фантастика, микроскоп и телескоп; отчего, впрочем, и назвал я своё сочинение «Странной повестью».

ГЛАВА 2 (б)



Профессор Лануэль Синдау

В купе скорого поезда ехали трое: профессор Лануэль Синдау и двое молодых супругов. Профессор возвращался с симпозиума психологов, молодая чета ездила в отпуск к родителям. Муж работал крановщиком, и на руке у него был выколот якорь. Жена работала буфетчицей, и в ушах у неё матово поблескивали агатовые клипсы.

Вечерело. Равномерно постукивали колёса. За окном медленно плыл закатный горизонт.

Профессор с карандашом в руке просматривал свою журнальную статью о кибернетической энцефалографии. И хотя глаза его бежали по строчкам, внимание раздваивалось, а вер-

нее, расстраивалось. То останавливали его сокращения и вольные редакторские толкования, то всплывали в памяти слова человека, с которым он спорил на симпозиуме и, кажется, проиграл спор, то отвлекали разговоры попутчиков.

А попутчики были увлечены весёлым делом: склонившись над газетой, они проверяли лотерейные билеты. Билетов было много – пачка толщиной в колоду карт. Колоду муж держал в руке, называя номер и серию, а жена водила пальцем по столбикам таблицы.

Им не везло. Из сорока пяти билетов лишь три оказалось счастливых, да и то какое счастье – два выигрыша по рублю и один – электробритва. Оставалось ещё пять карт, и, проверяя одну из них, жена вскрикнула:

– Машина!

– Врёшь!

Муж навалился на столик так, что надорвал газету, и дрожащие пальцы уткнулись в заветную цифру – номер сошёлся. Тогда четыре горящих зрачка воткнулись в серию. У него на лбу выступил пот, а у жены, на замершем лице, заалели пятна. Неужели есть на земле лотерейное счастье? Есть. Но в скорый поезд оно не село. Не захотело или не сумело достать билет. Или просто было необходимей другим людям.

Не сошёлся один-единственный знак: вместо волшебных пятидесяти трёх на билете значилось пятьдесят четыре.

Конечно, такое случается редко. Может быть, вообще не случается. Во всяком случае, Ленуэль Синдау на это роковое несовпадение не обратил внимания. Он услышал голос своего противника:

– Пока я руковожу институтом, вы беспрекословно будете подчиняться нашей идее.

– Я не против беспрекословного подчинения, – возразил Синдау. – Я против, чтобы оно было бездумным. Я за сознательную веру, за осознанную и нутром утверждённую позицию. Я против бездумного «ура», которое при случае легко может обернуться элементарной изменой идее...

А молодожёны сникли. На них больно было смотреть. Он ещё крепился и делал вид, что самое важное для него сейчас – развязать галстук. Но она откровенно закрыла лицо ладонями, и что происходило за ними, поймут те, у кого для лёгкого обладания легковой машиной не совпадает всего одна цифра.

Но через полчаса они пили чай.

– Вот ведь не подфартило как, папаша. Всего один знак, – привлекая невозмутимого попутчика к событию, сказал муж.

– Да, да, бывает, – машинально согласился Синдау, не поднимая седой головы. В статье было напечатано «трансцендентальная трансгрессия» вместо «биотрансгрессия». «Био» – съедено. Абракадабра. Старик Сикорский – ватная голова...

– Чайку, папаша.

– Чайку? – Синдау снял очки. – Лучше бы минеральной водички. Он полез в портфель, но вынул из него не бутылку с водой, а фотоаппарат. Отстегнул кнопки, что-то покрутил в нём, и через несколько минут в купе вошёл проводник с минеральной водой и стаканом на подносе.

– Спасибо.

– Слово мысли ваши читает, – удивился муж, намазывая булку маслом. – Случайно, не в наши края едете?

– Я еду в Мамбург.

– Что за город? Впервые слышу?

– Есть такой. Я живу, правда, в пригороде.

– Секретный, значит?

Минеральная вода шипела в стакане, взмывали кверху мельчайшие серебряные пузырьки. Синдау посмотрел в окно. Уже в вышине неба, там, где торжественно густела синева,

появились первые звёзды. А между синевой и красным заревом горизонта держалась светлая, выцветшая полоса.

– Был такой художник, – словно самому себе сказал Синдау, – писал он только небо, рассветы и закаты. Облака на его картинах имели самые причудливые формы. То они напоминали азиата с луком, то крылатого демона, то женское лицо... Вон какой багровый барс разлёгся над лесом.

– Вы, папаша, кто будете по специальности?

– Учёный.

– А по какой же части, если не секрет?

– Как вам сказать, друг мой. Хочу, чтобы человек стал сильнее, добрее, чтоб познал самое удивительное, что создала природа, – самого себя. Чтоб ваша милая супруга не огорчалась, – Синдау улыбнулся, – от лотерейных пустяков.

Жена же, прихлёбывая чай, безучастно смотрела в окно. Ей чем-то не нравился этот спокойный, всезнающий старик из непонятного ей мира, старик с худощавым, одухотворённым лицом и глазами глубочайшей голубизны.

– Ничего себе пустяк. Машина не пустяк. Мечта жизни для многих, – пояснил муж. – Вы большие, наверно, деньги получаете?

– Большие.

– Ну, а сколько примерно?

– Тысячу.

– В месяц?

– Иногда за одну ночь.

– Ничего себе! Тогда для вас машина – пустяк. Мы вдвоём столько не заколачиваем.

На жену и это сообщение не повлияло. Она всё ещё кляла себя, что лотерейные билеты брала не подряд.

– А имеете какие-нибудь труды учёные или, например, открытия?

– Я изобрёл «гипнопан».

– Что-то мудрёное. Мы люди простые, по-научному не понимаем.

– Это просто. – Синдау большим и указательным пальцем протёр глаза. Ему вспомнилась фраза противника: «Вы слишком слабы и чувствительны для руководства людьми». – «Да, да, слишком слаб и чувствителен», – подумал Синдау и вспомнил, как давным-давно он в пылу ударил дочку, а через несколько минут, не находя себе места, почувял, что ударил себя, и пошёл просить прощения у пятигодовалого человечка.

– Это просто, – повторил он. – Я создал такой аппарат, при помощи которого могу внушать людям разные мысли, могу заставить их совершать разные поступки.

– Гипнотизёр, значит?

– Не совсем так. Гипнотизёр влияет звучащим словом. Мне достаточно подумать и нажать кнопку вот этой штуки, которую вы, безусловно, приняли за фотоаппарат.

– Смеётесь, папаша? Мы люди, хотя и не учёные, но правду от сказки отличить можем.

– Вероятно, – устало улыбнулся Синдау и почувствовал тупую головную боль. Будто кто-то сильно сжимал пальцами височные артерии. В последнее время с ним случалось это всё чаще и чаще...

Небо совсем загустело. Багровый барс обмяк, голова его покорно склонилась к лапам. Барс был смертельно ранен.

– Ежели вы не шуткуете, так сотворите, как говорится, чудо, – не без издёвки попросил муж. Жена демонстративно вытащила из-под себя газету и вновь стала сверять цифры.

– Чудо? Попросим проводника принести что-нибудь от головной боли, – сказал Синдау, беря в руки аппарат.

Муж с интересом и недоверием смотрел то на профессора, то на его аппарат, то на дверь. И когда она открылась и показалась фигура проводника, он разинул рот и стал крутить на пальце колечко рыжего чуба.

– Только цитрамон и тройчатка. Может, полегчает, – участливо заметил проводник, кладя таблетки на стол.

– Благодарю вас, – Синдау протянул проводнику деньги. – Благодарю.

– Чудеса! – протянул изумлённый муж, когда проводник исчез. – Вы что ж, значит, всё можете?

– Нет, дорогой мой, далеко не всё. Заставить вас рассказать об искривлённом пространстве или принципе голографии я, к сожалению, не в силах.

– А, к примеру, можете, чтобы кассирша в гастрономе взяла и отслонила вам денег, ну, сколько попросите?

– Могу, – усмехнулся Синдау. – «Трамвай в древней Греции. Лазер – жрецу. А ему вот – „гипнопан“. Страшная штука...».

– Значит, миллионером можете стать, – не унимался муж.

– Могу.

– Вот это кино. Слышишь, – он потянул за рукав жену, – рассказать кому на работе – не поверят. Фантастика. С таким талантом, папаша, и работать не надо.

– Отстань ты. Над тобой смеются, а ты уши развесил, – сердито отрезала она и, бросив газету, вышла из купе.

– Вот дура серая, – снисходительно кинул муж ей вслед.

– Не нужно ругаться, не стоит. – Синдау дважды нажал кнопку своего аппарата и опустил его в портфель.

– Так вы уж, папаша, ещё что-нибудь сотворите, а?

– Я уже сотворил. Ваша жена навсегда забудет о сегодняшней лотерейной беде. А мне скоро выходить.

Небо совсем потемнело. Багровый барс потерял и форму, и свой багровый цвет, превратившись в узкую ядовитую полосу над чёрным лесом. Звёзды мерцали вовсю. Неожиданно раздался жалобный и протяжный скрип тормозов. Поезд начал замедлять скорость и наконец остановился.

– Что за станция? – удивился муж и вышел. Жена его, высунувшись из двери вагона, поглядывала то вперёд, то назад. Из окон торчали головы пассажиров, размышлявших, что бы значила остановка поезда прямо в чистом поле. Недоумевали проводники, недоумевали машинисты.

– Не по графику, видимо, шли. Торопились, – заметил кто-то в пижаме.

– Могли просто тише ехать, – прикинул проводник.

– Может, рельс повреждён?

– Загадка.

Но остановка и недоумения вскоре прошли. Над полем разнёсся протяжный, низкий гудок, и состав, нехотя набирая скорость, двинулся вперёд.

Муж с женой молча вернулись в купе. Оно было пусто. Странный попутчик исчез вместе с вещами. Она бросила тревожный взгляд на свои чемоданы и сумочку: всё было на месте. Газета валялась на полу. Зелёная лампа светилась на столике. Муж вышел и спросил проводника:

– Папаша, что за город такой – Мамбург?

– Как вы сказали?

– Мамбург.

– Сколько работаю, не слыхивал, – ответил проводник, подозрительно глядя на пассажира.

ГЛАВА 3

В этот день Александр Иванович возвращался домой раньше обычного. Ещё утром, на первом уроке, он почувствовал себя плохо. Часто вытирал потный лоб, стараясь, чтобы не заметили ученики. Кружилась голова, и зевалось, словно вышел из угарного помещения. На большой перемене, в школьном медпункте, он выпил валерьянки, но это не помогло.

В этот день он провёл контрольную работу; рассказывая о великом писателе, забыл его отчество, путал фамилии учеников, и те, почуяв что-то неладное, не смеялись, не бузили, а наоборот – вели себя на редкость тихо и взросло.

В этот день он не остался на педсовет, перепутал в учительской свою шляпу со шляпой математика, а в газетном киоске вместо денег подал ключи от квартиры.

– Что это с вами сегодня? – спросила хорошо знавшая его продавщица.

– Виноват, – смутился Александр Иванович.

– Бледный вы какой-то...

– Может быть.

В этот день он проехал на трамвае две лишние остановки и сказал соседке, жарившей на кухне камбалу, что на улице сильный снегопад, хотя никакого снегопада быть не могло: осень только начиналась, и лишь желтели виски деревьев.

Кроме Александра Ивановича, занимавшего маленькую комнатку, в квартире жили ещё две женщины: Анна Сидоровна, высокая деревенская старуха, большая любительница крепкого чая с кагором, и Евгения Павловна, молодая вдова, работающая в бухгалтерии какого-то института. У неё были рыжеватые волосы, как бы всегда застенчивое лицо, карие зрачки на голубоватых белках. Крепкая, стройная, она обладала ещё мягкой, женственной ленцой движений и голоса.

Александр Иванович любил её, но любил тайно, робко и целомудренно, краснея и опуская глаза при встрече, стесняясь выйти на кухню, если там находилась она.

– Сильный снегопад, – сказал Александр Иванович, обращаясь то ли к старушке, то ли к кому-то постороннему, одному ему зримому. Он даже стал отряхивать рукава и плечи от невидимого снега.

– Да бог с вами, Александр Иванович, – взглянув в окно, воскликнула соседка, – ещё до снега далековато. Вон Евгения Николаевна завтра по грибы собирается.

– Может быть, – неуверенно заметил он и скрылся в своей комнате.

Соседки мало что знали о нём. Знали только, что нелюдим Александр Иванович, странен, пишет по ночам невесть что и разговаривает со своим ежом, словно с человеком.

Опустив тяжёлый портфель прямо на пол и не снимая ни пальто, ни шляпы, он лёг на диван. Ёж, мягко постукивая лапками, приблизился к ногам хозяина и шумно потянул носом.

– Есть хочешь?

– Хочу, – ответил ёж.

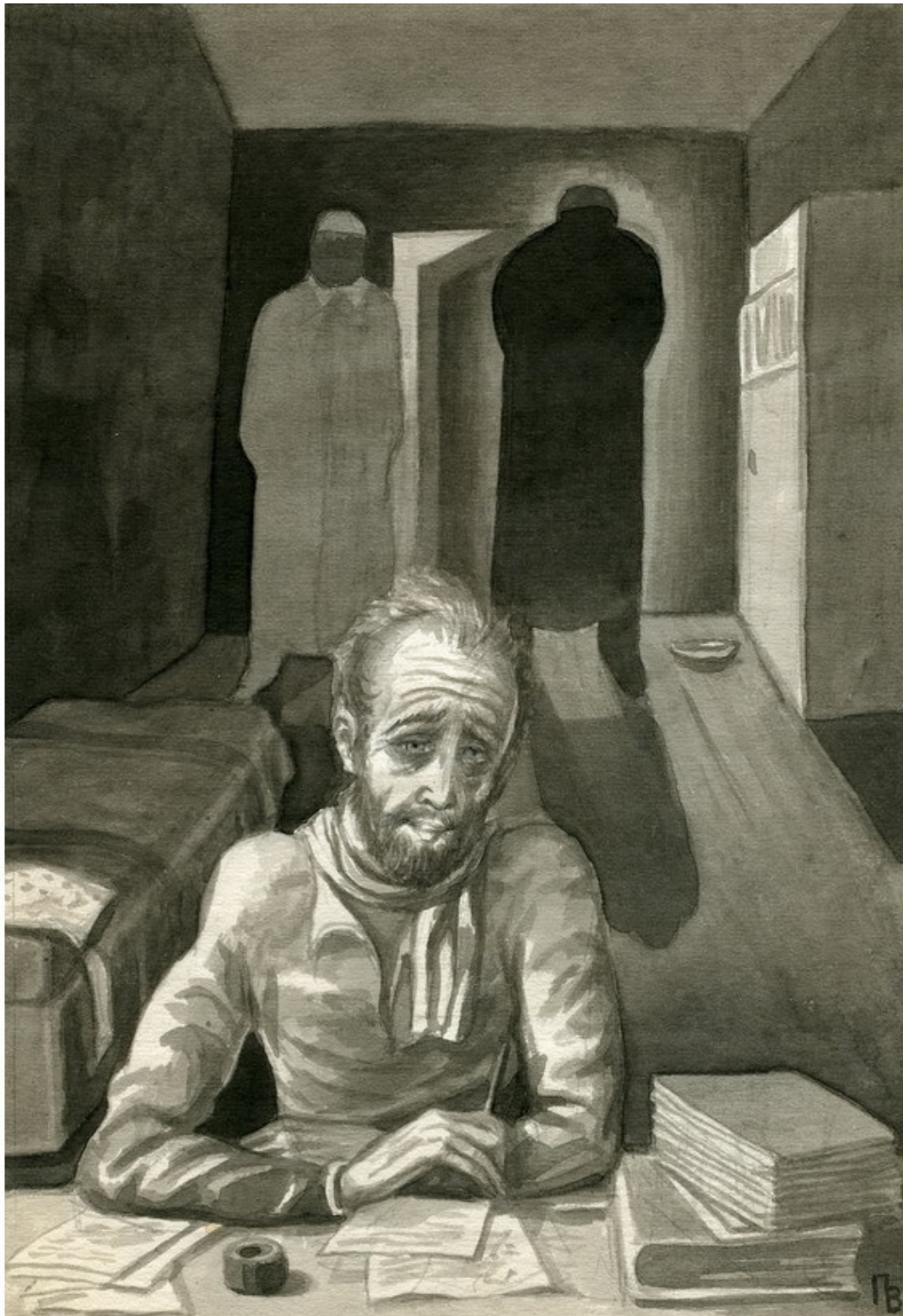
– Немного погоди. Голова остановится – покормлю.

– Хорошо, – сказал ёж и, чтобы не стоять над душой, ушёл под стол.

– Снегопад, – вздохнул Александр Иванович.

«Ты ошибаешься. Если бы наступило время снегопада, я лежал бы сейчас в коробке из-под ботинок, на холодном полу между дверьми и спал до весны», – подумал ёж, но вслух ничего не сказал.

Он знал, что хозяин вскоре встанет, нальёт ему в блюдце молока, а сам пойдёт заваривать чай.



Александр Иванович Крот

Потом выложит из портфеля стопку тетрадей и будет проверять их, помечая красным карандашом. Потом начнёт смеркаться. На столе зажжётся старая зелёная лампа, и хозяин примется за свою толстую тетрадь в коричневых коленкорных корочках. Он станет тихо разговаривать с самим собой, теревить волосы, ходить по комнате.

Ёж, конечно, не знал, о чём пишет Александр Иванович, но он понимал, что если человек, придя с работы, полночи сидит над мелко исписанными страничками, значит, это ему очень интересно и нужно.

Уже стемнело, загорались окна в доме напротив, а Александр Иванович всё лежал на диване с открытыми глазами, вовсе не собираясь наливать молока в блюдце, греть чай и садиться за свой стол. Наконец, часов в девять он медленно поднялся, потёр пальцами седые виски и направился на кухню с чайником.

Соседка вышла с кастрюлей.

– Анна Сидоровна, – начал он, зажигая газ, – можно вас спросить?

– О чём же, Александр Иванович?

– Хочу спросить вас: произошла ли эволюция эмоций у людей, ну, скажем, за последние две тысячи лет?

– Не поняла я что-то, – опешила старушка.

– Я говорю, простите, о чувствах человека. Меняются ли они во времени?

– Как не меняются! С годами старятся и голова, и сердце. В молодости всё горячеей.

– Вы меня не поняли. Я говорю о больших отрезках времени, о тысячелетиях. Но, впрочем, это мудрено. Знаете, один философ сказал: «Всё в жизни надоеет, кроме понимания». Я всё хочу понять, но слаб головой. – Он достал с полки баночку с чаем. – Мне вчера пришло письмо из королевской канцелярии. Государство, где любят своё правительство, – утопия. А меня обвиняют. Я хочу только добра, однако никому не мешать я не могу. Это мой долг. Мне это интересно.

Он помолчал, прислушиваясь, не кипит ли вода. Старушка, вытерев передником руки, с состраданием и удивлением смотрела на Александра Ивановича, боясь что-то промолвить.

– Я завтра же пойду к самому королю. Они мне ничего не могут сделать. Я неуязвим. Вам я выхлопочу надбавку к пенсии. А где графиня?

– Кто?

– Вероятно, с бароном, – сам себе ответил он, – или нет, барон ей неприятен. Слишком болтлив и глуп. Это утомляет...

Когда Александр Иванович унёс чайник к себе, старушка несколько минут неподвижно стояла у плиты, соображая, что бы это всё могло значить. Ей становилось всё страшнее и страшнее, и когда скрипнула дверь и на пороге появился Александр Иванович, она вздрогнула. Ей показалось, что сейчас произойдёт что-то ещё более непонятное.

– Да вы не волнуйтесь, Анна Сидоровна. Король – это у меня в романе. И графиня в романе. И снегопад. Я, верно, напугал вас?

У старушки отлегло на душе.

– Я и то вижу, вы играете ровно бы. Этак жутко немного стало.

– Ну и чудно. Будем пить чай. С королём, – улыбнулся Александр Иванович.

* * *

Он проснулся оттого, что кто-то грубо тормошил его за плечо. Перед ним стоял человек в белом халате.

Какое-то тяжёлое, невыразимо щемящее чувство охватило Александра Ивановича. «Это сон, надо проснуться, и всё пройдёт. Так уже бывало не раз», – подумал он, резко поднял голову, но властная, сильная рука мягко легла на лоб.

– Спокойней. Давайте тихонько одеваться, – сказал человек в белом халате. Это был добрый человек.

Александр Иванович отстранил руку, сел на диван и увидел человека в чёрном халате.

– Шуметь не советую. Свяжем, – пригрозил чёрный халат. Это был злой человек. Он бы сразу связал Александра Ивановича, если б был один.

– А зачем одеваться?

– Надо, – жёстко, но не сердито пояснил белый халат. Он отошёл к книжной полке и стал рассматривать книги в старинных, потёртых переплётках. Названия были незнакомыми: «Ибн-Туффайль», «Бругманс. Парапсихология», «Кьеркегор».

Александр Иванович стал одеваться, ни о чём не спрашивая, не сопротивляясь. Ему даже нравилось жёстко сказанное слово «надо».

Захотелось повиноваться, и, потеряв свою волю, он смутно почуял, что начинается какая-то новая жизнь, в которой им будут управлять люди, властно говорящие «надо», и никогда он больше не вернётся в свою комнату.

– Готов? – спросил чёрный халат.

– Одну минуточку, – Александр Иванович вынул из портфеля ученические тетради, завернутый в газету несъеденный бутерброд, а затем положил туда, перевязав бечёвкой, три толстых тетради в коричневом коленкоровом переплётке.

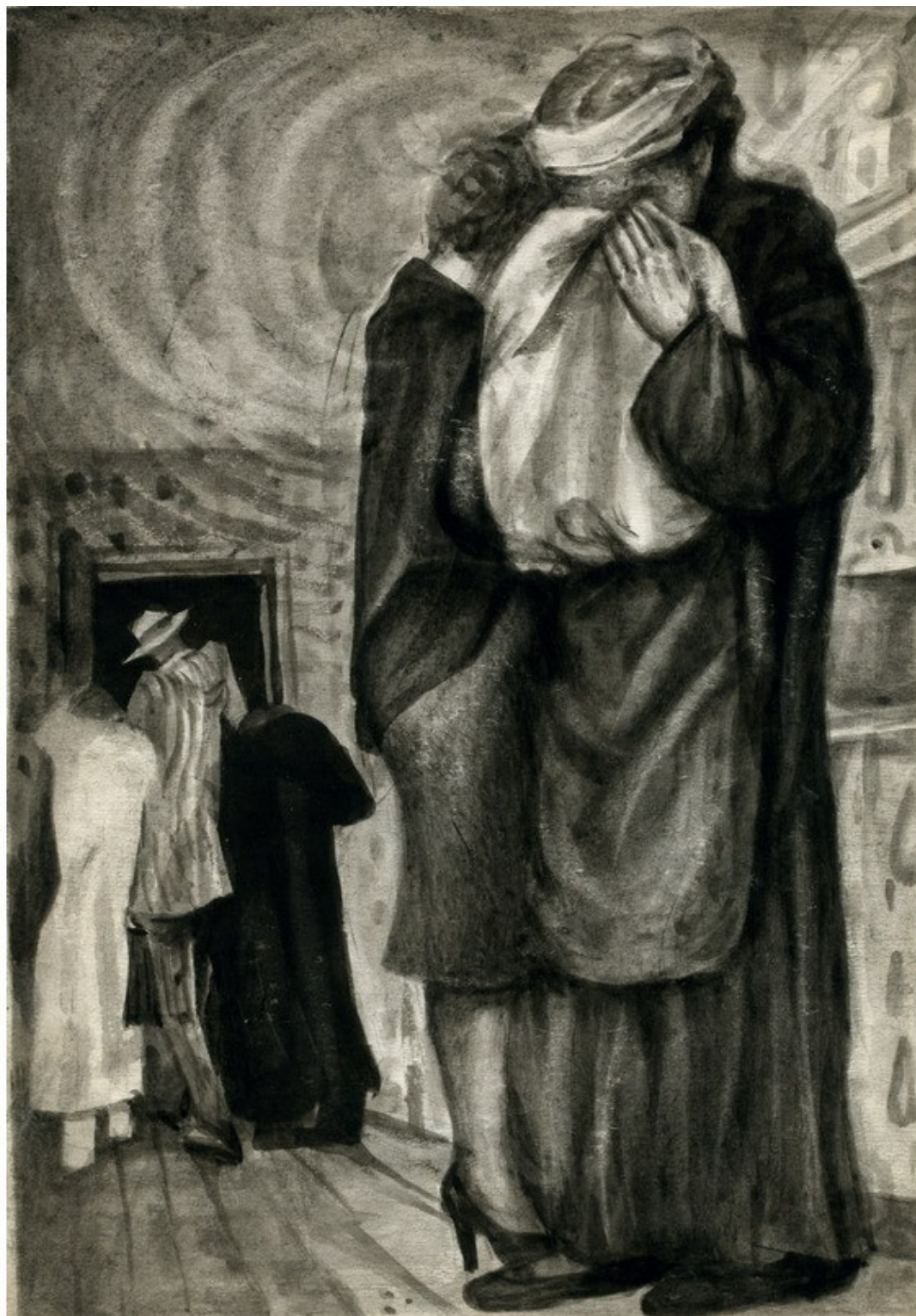
Ёж вылез из-под стола.

– Какая смешная скотинка! – сказал чёрный халат. Он был сентиментальным злодеем.

– Вот и всё. Я готов.

На кухне стояли соседки. Евгения Павловна в халате, грустная и очень красивая.

– До свидания. Пожалуйста, не выбрасывайте ежа, – сказал Александр Иванович, боясь поднять глаза.



Уводят в дурдом

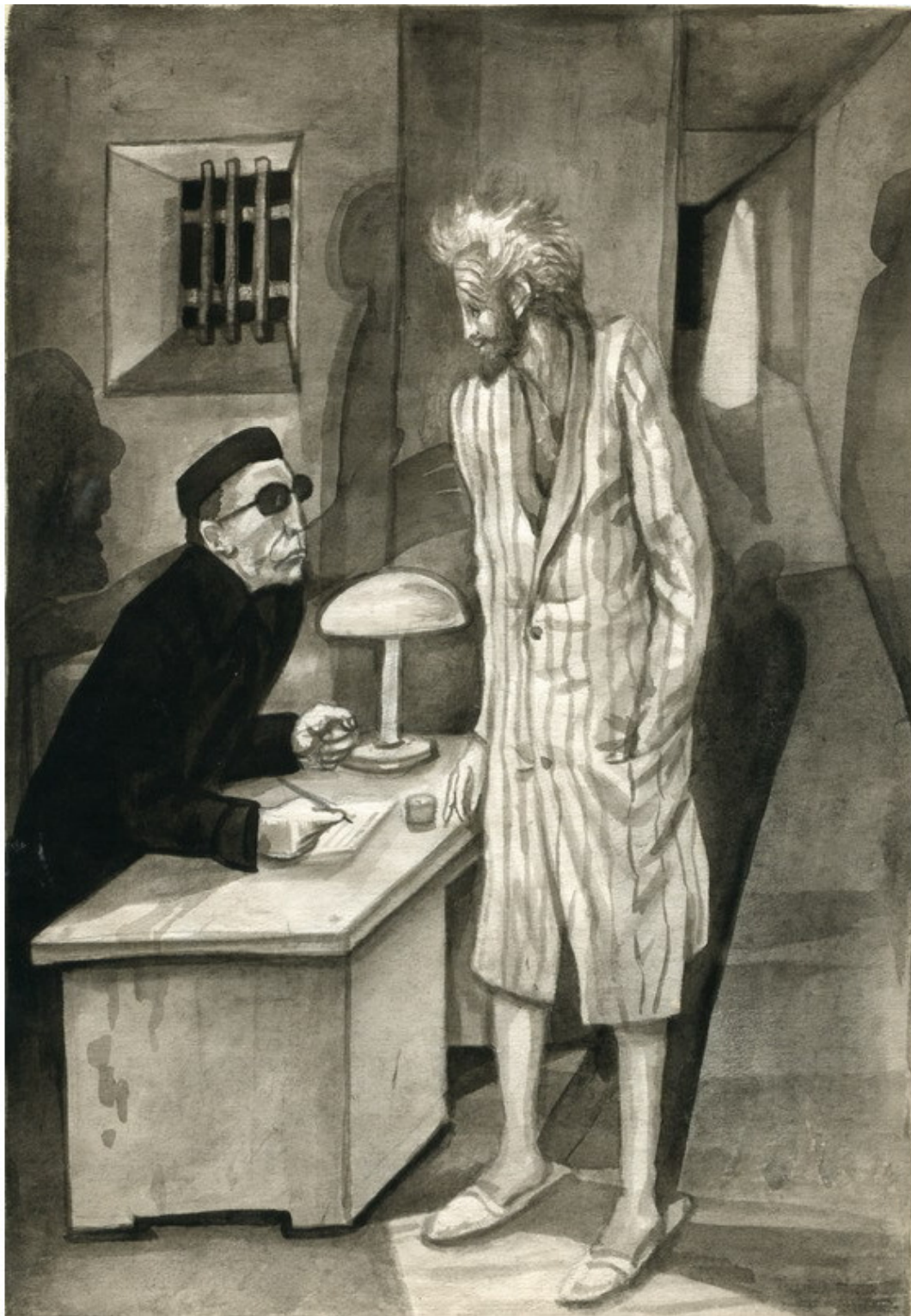
Его долго везли по тёмному ночному городу. Движение и качка на мягком сиденье успокаивали. Он словно бы опять заснул и очнулся в тёплой, ярко освещённой комнате. За белым столом сидел человек в чёрном и что-то писал. Вернее, не писал, а списывал с одной бумаги на другую, и, видимо, дело касалось Александра Ивановича, потому что человек в чёрном изредка поднимал голову и поглядывал на него. Так в молчании прошло минут десять. А может быть, больше. Шипело с лёгким писком перо, кто-то глухо кашлял за стеной. Сквозь приоткрытую дверь Александр Иванович увидел в коридоре, как цирюльник стриг кого-то маленькой

машинкой, стриг, наклонившись, с усилием, с нажимом, словно открывая консервным ножом банку. Наконец человек в чёрном отложил ручку.

– Дурака валять будем?

– Нет, – тихо ответил Александр Иванович.

Такой ответ очень понравился чёрному халату.



Чёрный халат

– Забавно, – сказал он и достал папиросу. – У нас все валяют дурака. Каждый норовит доказать, что он не верблюд. Что у меня в руках? – резко поднявшись, спросил он.

– Спички.

– Верно.

– Какой сегодня день?

– Четверг. Только сейчас ночь.

– Верно.

– Какого цвета на мне халат?

– Чёрного.

– А не белого, – человек в чёрном стал медленно приближаться к Александру Ивановичу. – Разве не белого?

– Чёрного.

– А вот и врѣшь, – злорадно улыбаясь, Чёрный халат подошёл так близко к Александру Ивановичу, что он почувял, как от этого человека пахнет мездрой.

– Скажи правду, и я выпущу тебя.

– Как же я могу сказать то, чего не вижу? На вас надет чёрный халат, – виновато улыбнулся Александр Иванович.

Но тут вошёл в комнату седой старичок с детскими глазами.

– Вы опять курите? – обратился он к Чёрному халату.

– Виноват. Забылся. Взвинтили.

– Идите, развинтитесь. Вас ждут в прозекторской.

– Вы вчера забыли выключить свет в кабинете. Пожарные ругались.

– Очень может быть.

– Я защищал.

– Представляю, как вы защищали. Ваш донос, ваше рукописное изделие лежит под стеклом у главного. Не так ли?

Чёрный халат молчал.

– Вы мне не нужны, идите, – отрезал старичок и поверх очков поглядел на Александра Ивановича кротко и пронзительно:

– Как себя самочувствуем?

– Голова немного кружится.

– Голова, голова. Пересадить легче, чем разобраться в ней.

Несколько минут старичок читал листки на столе, потом, нахмуясь, порвал их, выбросив в корзину, негодуя и покашливая в бородку.

Александр Иванович почувствовал, что кто-то смотрит на него из-за тёмного стекла окна. Он обернулся и увидел человека в чёрном халате. Злорадное, страшное лицо уставилось на него:

– Так какой на мне халат?

– Чёрный.

– Именно чёрный, – согласился старичок, – плесень живой материи.

– А не белый? – опять настаивал человек за окном.

– Чёрный.

– Что вы сказали? – старичок бросил взгляд на Александра Ивановича.

– Он там, за окном.

– Кто?

– Ваш сотрудник. Посмотрите, он там.

Старичок сжал губы, протёр очки:

– Да. Я вам верю, почтенный. Давайте до утра отдыхать. Вы, дружок, устали.

... Кто-то повёл Александра Ивановича по длинному, тусклому коридору, кто-то заставил его вымыться в ванной, надеть пижаму, пахнущую йодом, уложили в постель.

Он поспал час, может быть, полтора, а проснувшись, никак не мог понять, где находится. Вокруг него стояли койки, вдали у стены слабо светила настольная лампа, и за столом, уронив голову на руки, дремала женщина.

Александр Иванович хотел крикнуть, но крика не получилось, и услышал он лишь приглушённый собственный шёпот.

Он встал и босиком направился на свет. Женщина проснулась.

– Это куда? – спросила она.

– Мне домой надо, – сказал Александр Иванович и не узнал своего голоса.

– Спать, – отрезала женщина мягко, но властно.

– А воды можно?

Женщина недоверчиво посмотрела на него.

– В конец коридора. Направо. Не балуй только.

Александр Иванович побрёл по коридору. Коридор был длинный, а впереди что-то светило. И когда он дошёл до источника света и повернул направо, то увидел вдруг перед собой далеко-далеко уходящую неведомо куда дорогу.

– Увидели путь? – спросил неожиданно возникший субъект в синем ситцевом колпаке. Вопрос прозвучал ласково, но настороженно, будто человек в ситцевом колпаке специально стоял здесь, чтобы никто пути этого не заметил.

Александр Иванович грустно поглядел в тёмное, обросшее щетиной лицо. Он ничего не ответил, но только остановился.

– Вы не художник? – опять спросил человек.

– Нет.

– А я художник. Я скажу вам, как нужно писать автопортрет. Очень это просто. Все художники, жившие до меня, смотрели в зеркало и писали на холсте. Ерунда несусветная. Я смотрю в зеркало и пишу прямо по зеркалу, по своему отражению. Так можно создавать и картины. Меня обокрали. Теперь большинство мазил пользуется моим методом. Так вы хотите идти туда? – Он указал рукой в самый конец коридора.

– Да. Здесь скверно и страшно.

– Напрасно вы так отзываетесь. Тут хорошо. Там – люди, борьба, бокс. Здесь – покой. Только здесь можно не притворяться, что спишь, и быть самим собой. А свобода сновидений? Нет, не ходите туда.

– Пойду. Мне надо.

– Ну-ну, – тяжело вздохнул человек в ситцевом колпаке, чувствуя, что отговаривать бесполезно.

Александр Иванович уходил всё дальше и дальше, не оборачиваясь, и всё ускорял шаг.

Дорога, открывшаяся перед ним, неудержимо звала и манила.

ГЛАВА 4

Дорога была необычной: одна её половина покрыта асфальтом, другая вымощена булыжником и диабазом.

По асфальтовой половине мчались в обоих направлениях тяжёлые грузовики, автобусы дальнего следования, легковые машины всех марок и мотоциклы. По булыжнику и диабазу, не спеша, двигались дормезы, кебы, дилижансы, фиакры, кареты и просто всадники.

Дорога петляла по лесу между участками лесоповала. Лес валили по-разному: с одной стороны дороги рокотали трелёвочные тракторы, визжали электропилы, подъёмники и краны укладывали стволы в штабеля; по другую же сторону дороги ржали гужевые лошади, натужно

таща волокуши, полуголые лесорубы стучали по древесным комлям канадскими колунами с длинными кривыми топорщиками.

Вдоль асфальтовой половины стояли придорожные щиты с надписями: «Водитель, береги свою жизнь и жизнь пешехода!», «Не уверен – не обгоняй!», «Запрещается разводить в лесу костры!», «Покупайте лотерейные билеты!».

Щиты бульжниковой стороны гласили нечто странное: «Дорога ведёт туда и никогда обратно», «Покупайте препарат фирмы Генцеля – это лучшее средство от близорукости», «Угодья Его Величества Федула 493», «Медленно поспешай, странник».

Люди на левой половине дороги не замечали себе подобных на правой половине, и если кто и видел сразу обе стороны, то перейти запретную межу казалось чем-то невероятным, невысказанно страшным.

Александр Иванович ехал на старом велосипеде по бульжнику.

Никаких дорожных вещей у него с собой не было, кроме толстого потёртого портфеля, прилаженного к багажнику.

Около полосатого шлагбаума из будки вышел офицер с белой повязкой на рукаве. Подняв руку, он остановил велосипед, попросил предъявить документы.

– Александр Иванович Крот, – прочёл он вслух, держа перед собой паспорт и сверяя фотографию с лицом задержанного. – Странная фамилия.

Офицер недавно стал офицером и, служа на заставе всего две недели, был очень огорчён, что у всех задержанных документы не имели ничего подозрительного, и удалось арестовать всего одного человека, да и то при дальнейшей проверке оказалось, что это вовсе не шпион, как полагал офицер, а монастырский келарь.

Офицер обошёл велосипед, пощупал портфель, нажал язычок звонка и снова углубился в паспорт.

– А это что? – оживился он, указывая на маленькое серое пятнышко.

– Это виноват ваш коллега. На предыдущей заставе изучал он мой документ, и так долго, что с дерева, извините, капнула птичка. И прямо вот на страницу паспорта.

– Колофейкин?

– Может быть, Колофейкин. Я фамилии не спрашивал.

Офицер деловито направился в будку, позвонил куда-то и вскоре вернулся с лицом удручённым и унылым.

– Курить есть?

– Я не курю, – сказал Александр Иванович.

– И не пьёшь?

– Нет.

– И баб не того?

– Зачем вы так говорите?

Офицер грустно вздохнул и вернул паспорт.

– В другой раз будьте осторожней. Под деревом документ не предъявляйте.

– Удачной вам службы, – улыбнулся Александр Иванович и оседлал свою машину.

Палило солнце. Пахло смолой, земляникой, землёй.

Проезжая мимо щита, призывающего сдавать кровь безвозмездно, Александр Иванович услышал крик. Кричал кто-то странно, будто запрокинув голову, полоскал горло.

Александр Иванович остановился, немного подумав, снял с багажника портфель и, прислонив велосипед к сосне, пошёл на крик. Вскоре он увидел такую картину: под высокой, наполовину высохшей елью, задрав голову, стоял егерь в ватнике, с ружьём за плечами, в болотных сапогах. Рядом – женщина в чёрных очках, звонко и заразительно хохотала, тоже глядя вверх на ель. Там же, зацепившись бархатными панталонами за сук, висел кверху ногами толстячок, печально глядя на смеющихся.

– Гнездо козодоя он хотел нарушить, – ничуть не удивившись появлению незнакомого человека, заметил егерь Александру Ивановичу. – Да вот сорвался. Наверно, погибнет. От прилива крови к мозгу или ещё от чего другого.

Толстячок дрыгнул свободной ногой и пронзительно прополоскал горло, чем вызвал ещё более сильный смех женщины. Из карманов его панталон и камзола выпадали поочерёдно то песочные часы, то перочинный нож, то какие-то листочки и коробочки.

– Погибнет, – уверенно сказал егерь и стал набивать трубку.

Когда толстячок вновь затрепыхался, женщина даже захлопала в ладоши.

– Разрешите ваше ружьё, – попросил Александр Иванович.

Егерь выпустил изо рта колесо дыма и нехотя снял с плеча двустволку. Александр Иванович опустил портфель на траву, взял ружьё, поднял его и выстрелил.

Сук треснул. Владелец бархатных панталон шлёпнулся на землю.

– Замысловатый выстрел, – восхитился егерь, рассматривая незнакомца.

– Ловко! – сказала женщина и перестала хохотать.

– Это единственное, что я умею, – как-то виновато произнёс Александр Иванович и, улыбнувшись, добавил: – Хорошее ружьё.

– Вы великолепный стрелок. Давайте знакомиться. Евгения Павловна, – сказала она и сняла чёрные очки.

– Евгения Павловна, – растерянно произнёс Александр Иванович, силясь понять, почему она здесь, в лесу, в такой странной одежде, с такими же странными людьми. «Почему она хочет знакомиться? Разве я ей не знаком?» – подумал он и не своим голосом сказал: – Крот, Александр Иванович Крот.

– Крот, – засмеялась она. – Барон, ваш спаситель Крот. Я никогда не слышала такой смешной фамилии.

«Что же это всё значит, – мучительно соображал Александр Иванович, – почему она меня не узнаёт, откуда взялся барон?».

Толстячок, ползавший под елью в поисках растерянных предметов, прихрамывая, приблизился к Александру Ивановичу, прикрывая ладонью дыру в панталонах, и представился:

– Барон Готтлиб Моздрик. Придворный поэт-лирик. Вероятно, читали мои эпиграммы?

– Александр Иванович Крот. Ваших произведений, к сожалению, не читал.

– Графиня, он не читал моих стихов!

– Я из далёких мест, – сказал Александр Иванович, ещё более поражаясь, что она графиня. – Вы не ушиблись?

– О, пустяки. Поэт всё должен испытать эмпирически. Жаль, никак не отыскать вечное перо. Им написаны мои лучшие баллады.

– Ваша авторучка у егеря в кармане.

Егерь не покраснел, но очень удивился, вынимая из кармана авторучку.

– Замысловато, – хмыкнул он. – Как это она попала ко мне?

– Гениально! Вы сыщик? – спросил толстячок-лирик.

– Явственно сыщик, – заметил егерь.

– Что вы. Какой из меня сыщик, – улыбнулся Александр Иванович. – Агриппина говорила, простите, что у меня мозги набекрень.

Все засмеялись.

– Кто такая Агриппина? Что-то знакомое. Поэтесса? – спросил барон.

– Что вы! Это прачка, у которой я жил в деревне. Очень добрая женщина.

– В какие края направляетесь?

– В столицу.

– О, вы, вероятно, отставной офицер. Я сам когда-то был в гвардии. Носил усы и палаш. Увы, музы сняли с меня мундир. Ныне моя страсть – поэзия. У вас машина или карета?

– У меня велосипед. Я сам его собрал.

– Вы, значит, превосходный механик. Науки точные мне чужды. Не желаете с нами поохотиться? Егерь обещает глухаря.

– Спасибо, но я спешу.

– А как вы угадали, Александр Иванович, что авторучка у егеря в кармане? – спросила Евгения Павловна.

– Это очень просто, – смутился Александр Иванович и слегка повёл плечом. У него была привычка поводить плечом, чуть втягивая при этом голову, словно бы мешал ему воротник.

– Если просто, угадайте, что у меня в кармане?

– Ваши часы. Вы сняли их, чтобы не повредить в лесу.

– Ужасно, – произнесла Евгения Павловна, приложив руку к груди.

– Что ж здесь ужасного, графиня, – воскликнул Моздрик. – Я сам когда-то видел свои стихи сквозь непроницаемые объекты. Умел читать пальцами древнегреческих лириков. Это обыкновенная телепатия. Увы, нынче эмоции высшего порядка всё вытеснили из моей вдохновенной души. Неизбежный финал истинного поэта. На закате дней моих жду полного молчания...

Александр Иванович раскраснелся, возбудился. Это возбуждение он всегда испытывал, когда начинал видеть то, чего не видели другие, и их удивление передавалось ему, поднимало горячую волну к голове, и внутренний, нервный голос вытеснял все остальные голоса.

Уступая просьбе Евгении Павловны, он угадал, что снилось ей этой ночью, подсказал барону, что он ещё забыл под деревом серебряную зубоковырялку, и заметил егерю, что у того на спине выколот чёртик, сидящий на луне.

Надо ли говорить, как всё это поразило всех троих? Они совсем забыли об охоте, не хотели отпускать Александра Ивановича, просили отгадать что-нибудь ещё и ещё. Но он спешил, да и знал себя: в минуты возбуждения и импульсивного состояния всегда хотел остаться один, уйти от людей.

Евгения Павловна, видя, что удивительного незнакомца не удержать, подала ему листок из записной книжки с адресом.

Держа под мышкой портфель и собираясь уйти, Александр Иванович достал из кармана коробок спичек и протянул его егерю:

– Вы ведь курите, а спичек у вас нет. В лесу это горькое дело.

– Есть у меня огонёк, – ответил егерь уверенно. Однако, пошарив по карманам, огня он не нашёл, хотя хорошо помнил, что была у него зажигалка и полчаса назад разжёт ею трубку.

– Вот видите, – укоризненно улыбнулся Александр Иванович. – До свидания, – кивнул он всем и раздвинул кусты.

Велосипед, который он прислонил к дереву, исчез, но Александр Иванович не огорчился, а только улыбнулся, словно бы знал, что так и должно было произойти. Он подумал, что велосипед и есть та цена, за которую ему довелось встретить вдруг Евгению Павловну, правда, в таком необычном виде и в таком фантазмагорическом окружении. Большими шагами он направился по булыжной дороге и, пройдя несколько сот метров, переступив белую межу, очутился на асфальте. Идти по нему было легче.

* * *

Александр Иванович Крот не помнил своего детства. Точнее, он помнил одно, а люди рассказывали совсем другое. Рассказывали, будто был он в детстве необыкновенным ребёнком, а в юности – необыкновенным юношей.

В шесть лет сконструировал он якобы из старого дядюшкиного арбалета, найденного на чердаке, машинку, очищающую крутые яйца. Самоделка экспонировалась на смотре юных

дарований, и он получил первую премию: двухтомник схоласта Харитона Бореля «Пространство вокруг нас». Машинкой заинтересовался сам королевский шурин, и она была преподнесена ему с дарственной гравировкой.

В семь лет он бегло говорил на семи языках, играл на фаготе и мог в уме за несколько секунд перемножить два любых шестизначных числа. Памятью он обладал уникальной. Однажды, лишь прочитав несколько страниц текста, мог он тотчас всё прочитанное повторить слово в слово.

В школу его приняли сразу в восьмой класс, однако и там делать ему было нечего. Он зевал на уроках, читал трактаты Ария, аль-Кинди, сочинения персидских ойнеромантиков. Он решал задачи выпускникам, поправлял учителей, замечал ошибки в учебниках.

В десятом классе он доказал, что сумма всех конечных чисел равна нулю. Доктор Бикс назвал эту теорему бредовой, младоинфантильной, а вскоре опубликовал её под своим именем.

В том же году он создал теорию бескрайнего края и временной вечности и послал свою работу известному знатоку космогонии, исследователю великого араба аль-Баттани, некоему Гермесу Цецхли. С тех пор эта теория называется «теорией Цецхли».

В университете он пишет книгу о новом типе государства – государства учёных. Академик Аким Бабидаш, большой специалист по Англии времён «Семилетней чесотки», а также эпохи легендарного китайского царя Чин-Тана, признаёт эту работу вредной.

Знаменитый парапсихолог Фридон Мокси, обследовав юношу, порекомендовал сменить ему климат, и вскоре молодой человек был увезён в далёкую деревню. Шёл ему в то время двадцатый год. В здоровых деревенских краях, где и не слыхивали не только что такое книга, но и грамота вообще, Александр Иванович прожил шестнадцать лет.

Он осунулся, поседел, его виски. Он больше ничего не изобретал, не сочинял трактатов. От множества лет, проведённых в глухой деревне, осталась у него тяга к одиночеству, любовь к умеренной простой пище и застенчивая, одновременно всегда ироническая улыбка на бледном, немного женственном лице.

Умерла его мать (отца он не помнил, говорили, что он был еретиком), и остался в живых лишь один родной ему человек – дядюшка Бертольд, смешной, добрый, почти вконец спившийся старик.

К нему и возвращался Александр Иванович, шагая по дороге, половина которой была вымощена булыжником и диабазом, а половина – заасфальтирована.

ГЛАВА 5

Город Ливерсмог, в котором вынужден был пробыть Александр Иванович несколько дней, в буквальном переводе ничего не означает и, может быть, потому лежит в огромной котловине, так что, если отойти метров за триста, то он вовсе исчезнет из вида и покажется, что нет никакого города.

Приступая к описанию Ливерсмога и довольно невероятных событий, происходящих в нём, я должен извиниться: во-первых, за то, что такого города, сколько ни ищи на карте, не найдёшь; во-вторых, за моё пристрастие к городам, не обозначенным на географических картах.

Желая дать словесный портрет человека, никто, кроме разве что криминалистов, не начнёт этот портрет с бородавки на носу – у лица есть более достойные знаки. И хотя меня так и подмывает начать именно с какой-нибудь аллегорической бородавки, ну, скажем, с его знаменитого института, готовящего дворников с высшим образованием, или с выдающегося драматурга Ярослава Гогенкаца, получившего недавно седьмой орден за свои драмы, – я возьмусь вначале за предметы, возвышающие Ливерсмог.

Безусловно, одним из таковых являлось полицейское управление, хотя бы потому, что по какой бы улице вы ни вошли в город, она приведёт вас именно к этому заведению. И если

почему-либо вы пожелаете проникнуть туда, то, в противоположность имеющейся в городе клинике омоложения, покинете вы полицейское управление слегка постаревшим.

В Ливерсмоге находился также завод, выпускающий иголки, но не примусные, не патефонные, не швейные, а какие-то удивительные иголки: тяжёлые, длинные, как шпаги, с загнутыми концами. Такая игла первоначально сильно напоминала кочергу и лишь потом, при нанесении никеля, ничего уже не напоминала, и никто не знал, для какой надобности изготовлены эти странные изделия.

В Ливерсмоге имелась травматологическая лечебница, переполнявшаяся в дни зарплаты; окна её выходили прямо на кладбище. Работало в городе фотоателье, где можно было сняться на фоне любого пейзажа, баня с классами и горячей водой по чётным дням.

Необычайно любили в Ливерсмоге сносить дома, причём сносили их за несколько лет до того, как могли приступить к новой постройке, а также рыть всевозможные ямы, забывая, зачем, собственно, они вырывались.

Украшала Ливерсмог красивейшая аллея великих людей города, некоторые из которых действительно являлись таковыми. И тут хотелось бы немедленно приступить к описанию мэра города Бофила Плешбанца, но композиция сочинения не позволяет этого сделать, и я удержу карандаш.

Ливерсмог, увы, всё же не райский уголок земли, и объективности ради стоит отметить и его теневые стороны. Все города стоят у речки или водоёма, что по многим соображениям совершенно необходимо. Ливерсмог водоёма не имел. Потому имел грандиозный завод, пережигающий клозетные и иные отходы. В ясные дни (весьма редкие) над трубой этого завода вырастало тяжёлое рыжее облако, накрывавшее весь город.

Наблюдался в нашем славном Ливерсмоге и ещё один малый недостаток, который, впрочем, являлся продолжением его достоинств. Я имею в виду дороги окраин, если так можно назвать пространства между домами, по которым не пробраться ни пешеходу, ни конному. Смирившись с полной непроходимостью магистралей, ливерсмогцы, наивно полагая, что мостят улицу, вышвыривали вниз из окон всё непотребное: ветошь, мусор, помои. Поскольку уже лет сорок никто не решался форсировать эти клоаки, они поросли багульником и клюквой. В иных местах образовались ямы, и в ямах этих водились крупные щуки.

Путешественники утверждают, что Венеция стоит на воде. Ливерсмог стоял на грязи и непроходимой трясине. Говорят, Венеция медленно погружается в воду. Дома Ливерсмога стояли на незыблемой тверди, дороги же, наоборот, поднимались как на дрожжах. Венецианские обыватели добираются до базара или лектория на яликах, ботах и гондолах. Изобретательные ливерсмогцы подняли пешие и транспортные мостики над крышами.

Правда, однажды какой-то сорвиголова, армейский механик, рискнул форсировать одну из улиц не то на вездеходе, не то на бронетранспортёре, но дело чуть не кончилось катастрофой. Врезавшись грудью в трясику, вездеход тотчас скрылся из вида, а механик при помощи катапульты взлетел вместе с облаком грязи высоко вверх, с грохотом приземлившись на кровле головного института Межгалактических связей.

Страдали ливерсмогцы и от страшно длинных очередей за чем угодно. Рассказывают, что один протоиерей направился как-то в магазин за свёклой и вернулся лишь на другое утро. Через неделю он ушёл за говядиной и вообще не вернулся. Очереди стояли везде: у магазина и ЗАГСа, у бани и филармонии, у морга и сортира, стояли с утра до вечера, а, например, за репчатым луком и мыльной стружкой стояли и ночами. Впрочем, стояли – не то слово. В километровых очередях сидели, лежали, спали, жили. Днём мастеровые мужички, не теряя времени даром, тачали сапоги, плели корзины, резали по дереву и кости, мастерили всякую дребедень и попивали дешёвое вино, называемое «барматухой». Интеллектуальные мужи читали беллетристику, толковали о философии и политике, играли в кеш-беш и потягивали марочный херес. Женщины вязали шарфы, штопали, шили, стирали, готовили мужьям закуски и расска-

зывали детишкам сказки. Можно без преувеличения сказать, что большую часть сознательной и бессознательной жизни ливерсмогцы проводили в очередях.

Случалось, очередь была такой длинной, что последняя сотня и не ведала, за чем стоит. Иногда наивная горожанка, желая приобрести ватиновый бюстгальтер, только выстояв полдня, узнавала, что торгуют яловыми сапогами. Порой очередь совершенно не была в курсе, за чем стоит. «Что-нибудь дадут», – прикидывал обыватель, молча пристраиваясь в хвосте. И если, отстояв день-другой, ему ничего не давали, он безропотно шёл искать другую очередь.

Поистине, моя бы воля – назвал бы я этот славный город Очередыградом или Очередыбургом!

Однако эти тени – пустяки в сравнении с двумя главными бедствиями города: воровством и туманами. И поскольку не воровство породило туман, а наоборот, я начну с тумана. Не проходило и дня, чтобы город не погружался в душную молочную пелену, причём пелена эта была настолько густа и непроницаема, что проникала в частные квартиры и государственные учреждения, производя там курьёзы и недоразумения. Так однажды, когда мэр собирался сочинить указ, разрешающий беременным женщинам покупать билеты на симфонические концерты, кабинет его наполнился плотнейшим туманом, и мэр, ничего не видя, торопливо набросал постановление о повышении цен на велосипедные шины и постное масло.

Вот в это время, когда и в ясную погоду всякий житель нечист на руку, совершались малые и большие кражи. Крали в Ливерсмоге всё, что можно было украсть. Едва город погружался в туман, как с уличных фонарей свинчивались лампочки, с фасадов домов выкалупывались лепные украшения и облицовочные плитки, выламывались доски из садовых скамеек, срывались трубки в телефонных будках, с крыш исчезали антенны и кровельные листы, с подоконников – кастрюли с супом и бутылки с мочёной брусникой, с автомашин снимались колёса, у горожан пропадали велосипеды, собаки и молодые жёны, а однажды, в период самого продолжительного тумана, из зоосада исчез бермудский павлин, а с купола собора Святого Аристарха какие-то ловкачи соскребли сусальную позолоту.

Словом, когда наконец погода прояснилась, город долго не мог прийти в себя.

Александр Иванович посетил Ливерсмог именно во время небывалой пропажи: с центральной площади кто-то спёр среди бела дня конную статую Фомы Справедливого. Неправда ли – фантастическая пропажа? Однако нет такого фантастического, что не случилось бы или не случится в жизни. Иной писатель такое завернёт, что с улыбкой за ухом скребёшь, а глядишь – в жизни-то и похлеще свершится.

Много лет назад в Ливерсмоге был украден сам мэр вместе со своим правительством. Похитители потребовали у народа баснословный выкуп, не подозревая, что народ за любое правительство не даст и ломаного гроша, а наоборот – приплатит для избавления. Прождав два месяца и понеся немалые убытки, аферисты так же незаметно, как украли, подкинули народу мэра с его свитой. Фантастический факт. Небывалая кража.

Но совсем недавно в рыбном магазине один чистодел снял с молоденькой дамочки трико с бюстгальтером, да так ловко, так искусно, что та ничего и дома не заметила, вплоть до прихода мужа. И хотя в рыбном магазине в тот день продавали вяленую тарань, отчего возникла базарная давка и вавилонское столпотворение, и я даже допускаю, что эта дамочка была крайне нечувствительной особой, – случай всё же невероятный. Однако в кражу конной статуи среди бела дня, согласитесь, верится ещё менее.

И всё же, если бы люди выбирали место своего рождения, любой человек, вероятно, предпочёл бы родиться именно в Ливерсмоге. И если бы инопланетные пришельцы захотели составить мнение о Земле по одному городу, необходимо было бы привезти их в Ливерсмог. Привезти хотя бы потому, что его жители никогда не роптали на туманы, дороги, воровство, на смердящее облако, а более возмущались, скажем, необычной формы шляпой на голове мест-

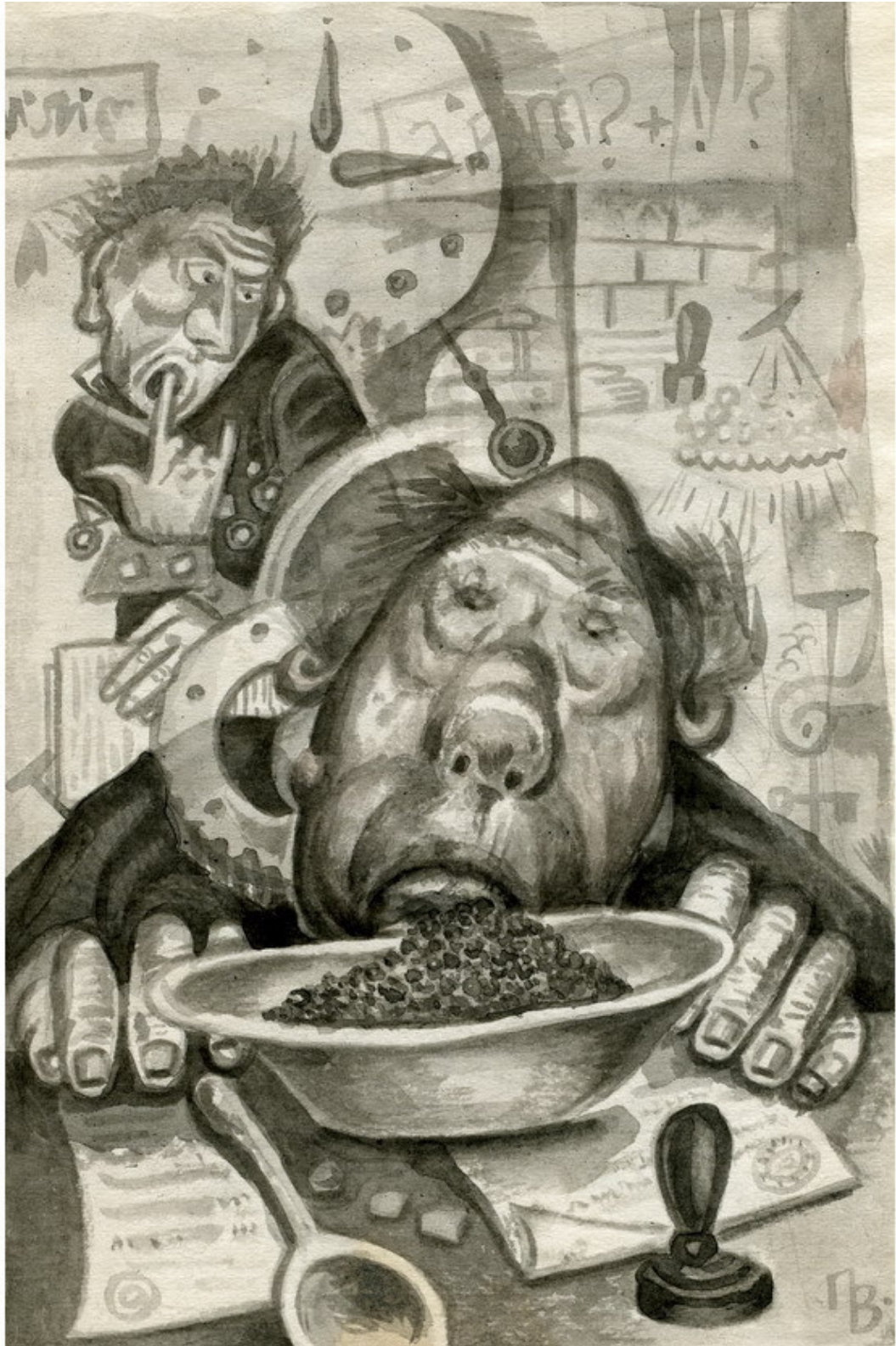
ного пижона, чем очередным указом мэра; более негодовали при виде короткой юбки на женщине, чем от километровой очереди, скажем, за воблой или конскими потрохами.

Правда, несколько лет тому назад, когда облако заводской трубы совсем накрыло город, в знак протеста забастовали литераторы. Их поддержали ломовые извозчики. Однако через неделю малодушные писатели сдались и, наглухо зашторив окна, уселись за письменные столы. А ломовые извозчики, оставшись в одиночестве, ещё неделю пропьянствовали в кабаках, а потом, протрезвившись, запрягли лошадей и взялись за вожжи.

Кончая описание города, нельзя не отметить ещё, что в некотором роде это был город наоборот. Не то чтобы во всём наоборот, и там предпочитали гнилые яйца свежим, или умные люди попадали в большие чины. Существовала там одна почти патологическая странность: я имею в виду понятие о красоте. И не о красоте вообще, а о женской красоте.

В Ливерсмоге, чем неприятней, чем безобразней женщина, тем неотразимее были её чары. При этом всё своеобразие кокетства женского заключалось в том, что они нарочно сутулились, уродовали своё лицо красками, прихрамывали, делали вид, что плохо видят и слышат, странно щурились, словом, любыми способами стремились уйти от своего естества, часто прекрасного. И пройди по Ливерсмогу Венера Милосская – никто бы на неё и не посмотрел. И пожелай эта богиня найти себе супруга в Ливерсмоге, так с большими усилиями досталась бы она, а вернее, снизошёл бы до неё какой-нибудь самый задрипанный, самый пропавший конюх, кривой, а может быть, и горбатый. Поистине райский уголок этот город для той половины женского рода, которая никак не может найти умника, смолоду понявшего простую и естественную истину, что если погасить на ночь глядя свет, так нет никакой разницы между красоткой и дурнушкой, царицей и прачкой.

ГЛАВА 6



Мэр Бофил Плешбанц

Мэр города Бофил Плешбанц сидел в глубоком кресле, в не менее глубокой задумчивости, и ел столовой ложкой кетовую икру. Кетовая икра в те времена... «Позвольте, – спросит сейчас же всякий пытливым читатель, – в какие такие времена, хотя бы и мэры, ели кетовую икру столовой ложкой? Да ещё в рабочее время? И вообще – о каких временах идёт речь в рассказе?».

Вот о временах сказать затрудняюсь. Замечу лишь: всё происходило не ранее, чем Гомер воспел гнев Ахиллеса, Пелеева сына, но и не позже, чем человечество, не научившись лечить обыкновенный насморк и изучив себя менее, чем постельного клопа, с ликованием доставило на Землю пробы грунта с Венеры и Марса. Ещё замечу, что меня мало занимает, в какое время и в каком месте что-то происходит с людьми, хотя я знаком с диалектикой и всегда придерживался той мысли, что истина конкретна. Зло и добродетель во все времена и на любых широтах одинаковы. Моё мнение таково, что удар сапогом по человеческому лицу, предательство и клевета – всегда есть подлость и мерзость, а любовные томления древнего гончара и гончара, живущего три тысячи лет спустя, увы, ничем не отличаются. Хотя и предвижу, что такое мнение не позволит мне издать эту безобидную книгу не только при жизни моей, но и при жизни внуков моих.

Я убеждён, что истинному художнику, как бы он ни старался, труднее скрыть время, чем дать его портрет. Время, подобно характеру художника, так и прёт из произведения, и это удивительное свойство творчества вселяет в меня уверенность, что и при моём скромном даровании данную книгу, как летопись именно определённого отрезка времени, когда-нибудь всё же прочтут далёкие люди.

Могут усмехнуться над моей самонадеянностью, сказать: «Блажен, кто верует». Но кто помешает мне верить в лучшие времена? Я ведь уповаю не на чудо, не на загробный вздор, не на Евангелие, а на естественный ход событий, и такая вера, хотя и заставляла жить в постоянной нужде, однако всегда помогала писать и складывать написанное на дно ящика письменного стола.

Один писатель сказал: «Если хочешь быть великим, будь правдивым». Другой заметил: «Котёнок тоже правдив, да он только и может, что сказать „мяу“». Куда мне до величия! С ним при жизни всегда связан тот недостаток, от которого перо и кисть начинают лукавить. Ведь истинному творцу более ничего не надо при жизни, кроме спокойной совести, куска хлеба и стакана вина. Оттого я всегда предпочту это правдивое «мяу» громкому риторическому рыку, лукавому и временному...

Однако к делу. Итак, Бофил Плешбанц уплетал кетовую икру, когда в его кабинет вошёл с докладом секретарь Гефест Газенпуд.

– Разрешите доложить, господин мэр: у здания городской ратуши лопнула канализационная труба...

Мэр не ответил. То ли он дремал, держа тарелку на коленях, то ли думал, и, конечно, довольно трудно, а скорее, вовсе невозможно без особого прибора догадаться, о чём думает не только мэр, но и простой смертный.

Секретарь доложил повторно. Мэр глубоко вздохнул, удивлённо осмотрелся:

– Труба, говоришь?

– Труба лопнула, господин мэр.

Следует заметить, что Бофил Плешбанц не любил ни говорить, ни тем более думать. Вероятно, оттого он большей частью помалкивал. И можно только искренне удивляться, как он правил городом и, судя по тому, что в течение тридцати лет никто не решился его переизбрать, правил весьма успешно. Поистине, высоты человеческого духа не ведают границ. Это свойство Бофила Плешбанца, конечно, поразительно, но не менее впечатляет и личность известного в своё время в Ливерсмоге лучника Феофана Хрулёва, который на тридцать седьмом году жизни совершенно ослеп, однако не только не бросил любимого вида спорта, а наоборот – основал в городе школу стрелков из лука, где весьма успешно состоял главным тренером.

– Надо бы заменить трубу, – заметил мэр, ставя тарелку на стол.

– Уже заменили, господин мэр.

– С другой стороны, можно и не менять. Её сменишь, а она опять лопнет.

– Вполне вероятно, господин мэр. Хочу ещё доложить: на базарной площади найден труп полицейского писаря.

– От каких причин произошла гибель?

– Определить невозможно.

– Похоронить бы надо...

– Уже похоронен, господин мэр. Рядовой гвардии, господин мэр, покинул пост возле склада ортопедических биндажей.

– Что говорит закон?

– Повесить, господин мэр.

– Вот именно.

– Но он покинул пост, чтобы спасти тонущего в рядом лежащем водоёме архиерея.

– Спас?

– Спас, господин мэр.

– Наградить медалью и поощрить месячным отпуском.

– А как насчёт повесить?

– Что раньше – нарушил или спас?

– Нарушил, господин мэр.

– Повесить, а потом поощрить.

– Уже повешен, господин мэр, и поощрён...

– Ещё что?

– В музее городской ратуши украден столовый сервиз.

– На сколько персон?

– На тридцать, господин мэр.

– Надо бы изловить мошенника.

– Уже изловлен, господин мэр. Позвольте указ...

Мэр на бумагу и не глянул, а рука его, никогда не поднимавшая предмета тяжелее столовой ложки, вдруг с удивительной мощью хлопнула массивной печатью по указу, отчего тот сразу же приобрёл законную силу.

– В зале симфонического оркестра с потолка сорвалась люстра, господин мэр.

Бофил Плешбанц, опустив голову, задумался.

– Люстра с потолка сорвалась, – повторил секретарь, лишь переставив в сообщении слова, и именно эта перестановка вывела мэра из самоуглублённого размышления.

– Много жертв?

– Приблизительно, человек двадцать-тридцать.

Ни один мускул не дрогнул на благородном лице главы города.

Он лишь повертел вокруг оси тарелку с икрой и так составил губы, что, приложи к ним салфетку, на ней бы отпечатался жирный ноль.

– Что играли оркестранты?

– Малоизвестного симфониста, господин мэр.

– Концерты прекратить.

– Уже прекратили, господин мэр.

Бофил опять погрузился в раздумья и машинально съел несколько ложек икры.

– Прекратили уже, – повторил секретарь, опасаясь, что мэр заснёт.

– Надо бы убрать всякие люстры из учреждений.

– Уже убраны, господин мэр.

– Её, люстру, повесь, а она опять сорвётся.

– Вполне вероятно, господин мэр.... На центральной площади украдена статуя Фомы Справедливого.

– Целая статуя? – переспросил мэр и впервые поглядел на секретаря. Кстати, он обладал одним феноменом, встречающимся только в животном мире, а именно у йоркширских свиней: один глаз его был карий, другой синий.

– Совершенно целая, господин мэр.

– Найден грабитель?

– Ещё не найден, господин мэр. Затруднительно ввиду массы...

Бофил Плешбанц глубоко и шумно вздохнул, повертел медную пуговицу мундира, представил филармонию с люстрой и без люстры, покрутил толстым мизинцем в ухе, вспомнил недавние конские скачки, представил усопшего полицейского писаря, который лежал почему-то в лопнувшей канализационной трубе, съел две ложки икры, непроизвольно подумал о понравившейся ему жене главного драматурга города Ярослава Гогенкаца, чью пьесу он недавно одобрил к постановке, мысленно отдал какое-то распоряжение, сладко зевнул, закрыл глаза, и, когда секретарь заключил, что мэр, видимо, задремал и надо выйти на цыпочках из кабинета, Плешбанц как-то отстранённо, словно про себя, заметил:

– Хорошо бы найти этого конокрада...

– Я тоже так полагаю, господин мэр, – подхватил секретарь, не совсем точно определив, ещё находится ли Плешбанц в ясном уме или в дремотной прострации. – Не угодно ли подписать циркуляр о понижении цен на некоторые бакалейные изделия, господин мэр?

– А что, столовый сервиз ещё не найден? – спросил мэр. И тут кабинет начало заволакивать туманом, да таким плотным, таким стремительным туманом, словно во все щели повалил дым от валежника или банный пар, или, того хуже, зажгли под окном самую сильную дымовую шашку. Через несколько секунд в кабинете ничего нельзя было различить, и задремавший мэр не заметил даже, как секретарь, вытянув руки, будто слепой, вышел на цыпочках за дверь. Когда же он проснулся, туман рассеялся, в кабинете стояла тишина, лишь мерно и медленно стучали настенные часы. Тарелка с кетовой икрой исчезла со стола. Плешбанц заглянул под стол, поискал её глазами и, нигде не найдя, не стал возмущаться, негодовать, метать громы, а спокойно перебрался на диван, лёг на бок и тотчас же уснул, забыв про указы, конные статуи, канализационные трубы и даже про исчезнувшую икру.

И этот незначительный этюд, эта слабая попытка нарисовать беглый портрет главы города, имели лишь одну цель: отметить полнейшую невозмутимость и хладнокровие государственного деятеля, удары сердца которого, даже в минуты самых сильных душевных потрясений, совпадали с ударами маятника настенных часов в его кабинете.

ГЛАВА 7

Маленький, добродушный дядюшка Бертольд с красным носом, отмороженным в сражении под Белфастом, прослезился при встрече.

Сначала он вообще не признал племянника. Несколько секунд он недоуменно стоял в дверях, сосредоточенно пожевывая губами, молча взирая на высокого человека с портфелем под мышкой. Да и мудрено узнать двадцатилетнего юношу через шестнадцать лет. К тому же Бертольд уже успел выпить полбутылки пальмовой водки.

Но, узнав племянника, старик взорвался, засуетился, пустил радостную слезу, обхватил Александра Ивановича и хотел даже его приподнять.

– Дрозд, дрозд, вытянулся как, шельма! На казённых харчах вытянулся-то как! – приговаривал старик, прихлопывая племянника, подпрыгивая и сияя, как верный пёс, учувший старого хозяина.

Заняв у соседа-стекломоя денег, дядюшка сбегал в лавку и на радостях накупил столько всякой всячины, словно к нему приехало несколько племянников.

Пока Александр Иванович принимал ванну, дядюшка, бравурно напевая старинную маршевую песню «Труба зовёт, опять в поход», накрыл стол свежей скатертью, прибрал комнату,

ввинтил в люстру четыре лампочки, принёс с чердака граммофон, сменил чехлы на браулей-ровских креслах и, повязавшись фартуком, зашумел на кухне. Выпив ещё рюмку, он загремел кастрюлями, начал что-то сливать, процеживать, жарить, роняя при этом ножи, шумовки, ложки и собственные очки.

Бертольд был одинок. Занимался он делами собачьими в питомнике, пил водку, читая газету, засыпал прямо в кресле. В гости не ходил, и к нему никто не являлся, кроме стекломоя, с которым они попивали, покуривали трубки и вспоминали былые баталии.

Старик не мог уgomониться и за столом. Он то накладывал племяннику печёнки с луком, то просил отведать грибов, то заводил граммофон и тут же выключал, то сокрушался, что Александр Иванович не пьёт и не курит. На месте ему не сиделось. Он бегал всё время на кухню, где что-то подгорало и выкипало, показывал недавно полученную медаль, искал старые фотографии и не мог их найти. Перед чаем он нетерпеливо повёл племянника в маленькую комнатку, где находился предмет его особой гордости – оценившаяся сучка валлийской корги. Бертольд бросал щенкам кусочки буженины, щёлкал пальцами, встав на четвереньки, лаял, взвизгивал, целовал щенят в сухие носы, рычал, скулил, называл их тигроловами, шельмами, бандитами. Крохотные собачки лизали красный нос, от мороженый под Белфастом, а один из них, самый бойкий, вскарабкался старику на лысину. Лишь за чаем, выпив ещё три рюмки вермута, старик сник и, словно стесняясь самого себя перед племянником, прослезился.

– Я уж думал, всё. Не увидимся. Мать не дожила. Святая женщина, светлая...

Он уронил голову на стол и затих.

– Извини, перебрал на радостях...

Александр Иванович помог ему добраться до дивана, подложил под голову старика подушку, а сам вышел на цыпочках на кухню. Наслаждаясь тишиной и одиночеством, он долго пил крепкий чай, потом расчистил место на столе, достал из портфеля тетрадки и ручку. Несмотря на чай, долго сидеть над рукописью он не смог: потянуло в сон, почувствовалась усталость. Собираясь уйти в комнату, он встал, погасил газ и ощутил вдруг на себе чей-то взгляд. Обернулся к окну, увидел там, на фоне тёмного стекла, знакомое уже, мерцающее лицо человека в чёрном халате.

– Какого цвета на мне халат? – донеслось до Александра Ивановича. Он, не мигая, глядел в стекло, силясь понять: реальность или галлюцинация этот голос и страшное лицо. Но губы человека в чёрном беззвучно на этот раз повторили вопрос.

– Чёрный, – ответил Александр Иванович.

Лицо самодовольно улыбнулось и медленно стало исчезать, и на месте его осталось лишь паукообразное отражение от лампочки.

Александр Иванович выключил свет и увидел за окном горящие светом окна, уличные фонари и осколок луны на тёмном небе...

Бертольд поднялся рано. Голова горела, нестерпимо хотелось пить. Дрожали пальцы, когда он застёгивал пряжки на туфлях. В старинном, изъеденном жучком, шкафу нашёл заветную бутылку. Он находился ещё в том промежуточном состоянии, когда скрывают, что не могут без водки, но втайне надеются, что в один прекрасный день, стоит дать себе слово, и всё изменится. Но как это всегда бывает, слово это давать не хотелось, да и страшно было давать его, а потом нарушить. Тогда конец, и ничто уже спасительное не маячит впереди, не тешит пусть обманчивой, но надеждой, что я сильнее своей слабости.

Прежде чем приложиться к весёлому горлу бутылки, Бертольд заколебался: пить или не пить сегодня? Живя один, он редко раздваивался в этом решении и скорее вовсе не задавал таких вопросов. Но приехавший племянник остановил дрожащую руку.

Бертольд закрыл шкаф, направился на кухню и выпил прямо из банки огуречного рассола. Поставил чайник и хотел было приняться за мытьё посуды, но бутылка водки не выходила из головы. Какой-то беспричинный страх наполнил всё его тело. Подумалось, что три дня

назад с ним почему-то не поздоровался старший собаковод питомника, видимо, ему не понравилась такса, которую просил шеф особого отдела. Все недавние события, ничего не стоящие, малозначительные, стали укрупняться и принимать особый, горестный оттенок. Виноватое состояние не проходило, а лишь нарастало, и Бертольд, зная, что оно и не пройдет, пока не примешь хотя бы рюмку горькой, нерешительно вернулся к шкафу. «Одну, только одну», – успокоил он себя и, уже не сопротивляясь, а обрадовавшись хоть малому зароку, вынул бутылку. Через несколько минут спокойное тепло растекалось по жилам, и старик, совершенно ни о чём не думая, выпил ещё две рюмки, и все тревожные думы сделались весёлыми, а мучительные подозрения – дурацкими и смешными.

Он выпил сырое яйцо, вполголоса напевая марш, покормил собак, машинально и весело выпил ещё стопку и заглянул за перегородку, где спал Александр Иванович.

Племянник лежал на боку, подложив под щеку ладонь и, казалось, не спал, а думал, закрыв лишь глаза. Кровать была ему мала. Худые, длинные ноги вылезали из-под короткого байкового одеяла.

Осторожно, боясь звякнуть тарелкой или чашкой, Бертольд убрал со стола, вымыл посуду, подмёл пол. Мысли его были о племяннике. Он подумал: куда его устроить, что он умеет делать, как поведёт себя в новой, непривычной обстановке. Убирая на кухне, старик заметил тетради, ручку, старый, весь в трещинах и изломах, портфель. Он взял в руку тетрадь, понюхал её – пахло странно: печёными яблоками. Прочёл название на первой странице: «Странная повесть». Дальше шёл мелкий, неразборчивый почерк.

«Что за хреновина, тридцать-сорок!» – удивился Бертольд. «Тридцать-сорок» была приписка-ругательство. Из тетради выпал засушенный цветок анютиных глазок. Бертольд аккуратно вложил его обратно и, ещё раз произнеся «тридцать-сорок», бесшумно направился в комнату и приложился к бутылке.

ГЛАВА 8

Федул, прямо скажем, засиделся на троне. Его дед, Федул-491, заступил на должность в 9 часов 35 минут. Едва ему удалось начертать указ о введении обязательной спецформы для вокзальных носильщиков, как в 13 часов он был смещён, и ещё на тёплый бархат трона воссел отец Федула-493 – Федул-492. Этот просидел подольше – пятнадцать суток. За это время он успел отменить все прежние указы и ввести несметное количество новых, из которых самым замечательным явился, несомненно, указ о повышении цен для инвалидов войны на консервированный ремень.

Федул-493 был добрейшим из когда-либо живших и, вероятно, ещё не живших королей, опровергавших древнюю истину, что всякая власть – насилие.

К примеру, подари ему какой-нибудь заокеанский султан верблюда, так наш король в грязь лицом не ударит и, в свою очередь, преподнесёт гостю турбовинтовой лайнер или, того хлеще, возведёт в эмирате султана нечто наподобие Вавилонской башни. Добрейший король Федул-493! И то скажем: от богатства великого и щедрость. В соседнем государстве король Дралафу-177, как нагрянет какой-нибудь прыщ заокеанский, тайком кланчит у королевы на бутылку или займы просит у придворного зубодёра, который, несмотря на малое жалованье, всегда деньгу имел. Нет уж, Федул в таких случаях пир на весь мир отгрохает, не мелочась, не щадя государственную казну.

Надо прямо сказать, что ничего королевского ни в облике, ни во внутреннем устройстве у Федула-493 не было, и, сними с него пышные одежды и отпусти в народные массы, любой без труда признал бы в нём весёлого странника, артельщика или колёсных дел мастера.

О его мягкости и добродушии сочинялись оды, панегирики, снимались документальные фильмы. На многочисленных живописных полотнах он то раздавал мятные пряники паломни-

кам, то играл на домбре в окружении детей, то лежал на лесной опушке и записывал на магнитофон пение зяблика.

Придворный генерал-художник Потап Пампердуст изобразил его недавно в клетке с хищниками. Сидя верхом на леопарде, Федул одной рукой гладил пятнистого ягуара, а другой – вытаскивал занозу у чёрной пантеры.

В центре Федульска возвышалась семиметровая статуя из напряжённого железобетона. В условной манере скульптор запечатлел тот момент, когда Федул кормит аквариумных рыбок мучными червями и сухой дафнией.

Его мягкосердие сказалось как на внутренней, так и на внешней политике. Он отменил собачьи налоги и запрет на самогоноварение, разрешил курить за рулём, произвёл частичную перепись населения, ввёл новые цены на соль и пеньку и наладил отношения с Южной Фингалией. Воевать он не любил. Но если случалось, что воевать было необходимо, Федул очень переживал. «Вы уж, братцы, того, старайтесь без пороха, больше врукопашную», – напутствовал он обычно войско, отправлявшееся в далёкие земли.

Его научные труды по стратегии, тактике и баллистике были написаны так миролюбиво, так увлекательно, что читались более людьми сугубо штатскими.

Особенные симпатии снискал Федул у народа трогательной заботой о благоустройстве туалетов. В этом деле он достиг удивительных, ни в какой иной стране невиданных успехов. В первый же год его счастливого правления в столице появилось одиннадцать новых туалетов, выстроенных выдающимися зодчими. Они вложили в свои сооружения столько выдумки и оригинальных идей, что, без преувеличения, можно сказать: лицо города совершенно изменилось.

На фоне грандиозных сооружений с колоннадами ионического, коринфского и дорического ордера, с золочёными шпилями, с огромными буквами «М» и «Ж» как-то сразу поблекли все рядом стоящие постройки, некогда восхищавшие горожан. Но ещё большим великолепием и размахом поражало внутреннее устройство этих архитектурных шедевров. Как бы ни было велико и неодолимо желание свершить то естественное дело, ради которого мчались горожане к сияющим буквам «М» и «Ж», едва они входили в монументальные, вертящиеся двери – сразу пропадало это естественное желание.

В первом же зале, расписанном флорентийскими мастерами, играл духовой оркестр; во втором зале, отделанном массандровым деревом, внимание посетителя зачаровывали изумительные по своей одухотворённой тональности голоса хора мальчиков (если посетитель вошёл в дверь под буквой «М». Что творилось на половине иной, автор может только догадываться). За этими музыкальными помещениями следовала комната кривых зеркал, бильярдная, рюмочная и, наконец, Красная гостиная, где известные поэты нараспев декламировали свои лирические стихи. Собственно, только здесь посетитель и вспоминал, зачем явился в этот храм.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.